

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ РОМАН

Lena Swann

Распечатки

прослушек интимных переговоров
и перлюстрации личной переписки

Том №2



Книга, которую из-за цензуры
побоялись издавать в России

Lena Swann

**Распечатки прослушек интимных
переговоров и перлюстрации
личной переписки. Том 2**

«Фолио»

2015

Swann L.

Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2 / L. Swann — «Фолио», 2015

Можно ли считать «реальностью» жестокую и извращенную мирскую человеческую историю? Ответ напрашивается сам собой, особенно с недосыпу, когда Вознесение кажется функцией «Zoom out» – когда всё земное достало, а неверующие мужчины – кажутся жалкими досадными недоумками-завистниками. В любой город можно загрузиться, проходя сквозь закрытые двери, с помощью Google Maps Street View – а воскрешённые события бархатной революции 1988–1991 года начинают выглядеть подозрительно похожими на сегодняшний день. Все крайние вопросы мироздания нужно срочно решить в сократо-платоновской прогулке с толстым обжорой Шломой в широкополой шляпе по предпасхальному Лондону. Ключ к бегству от любовника неожиданно находится в документальной истории бегства знаменитого израильтянина из заложников. А все бытовые события вокруг неожиданно начинают складываться в древний забытый обряд, приводящий героиню на каменные ступени храма в Иерусалиме.

© Swann L., 2015

© Фолио, 2015

Содержание

Глава 6	6
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Lena Swann

**Распечатки прослушек интимных
переговоров и перлюстрации личной
переписки в двух томах. Том 2**

The e-mail attachment has been sent from lenaswann@hotmail.com
to mobile.wisdom@outlook.com at 00.17 on 19th of April 2014

Глава 6

I

Въехали в Мюнхен уже после полудня, и как-то неожиданно. Вдвинулись легко, как длинный выдвижной ящик в распахнутый прозрачный дребезжащий сервант вокзала. В котором явно хранилось что-то съестное. Что-то десертное. Судя по запаху, врывавшемуся в открытые до предела фрамуги вагонных рам – свежее испеченные булочки.

– Не исключено, что со сладким творогом, – пробубнил с ученым видом Воздвиженский, смешно поддергивая по полукругу носом и, смакуя, поджимая пухлые свои губы – высунувшись, рядом с Еленой, в окно. – Ватрушки, короче. Да, да. Точно. С очень сладким творогом.

Ей было лень с ним спорить. Хотя у нее у самой не было на этот счет ни малейших сомнений: это сдобные булочки с горячим повидлом внутри. А никакие не ватрушки.

Как только вагонная хлябь под ногами сделалась твердью, в ту же секунду, вместе с захватывающей дух легкостью ощущения материализовавшегося чуда – Мюнхен! Заграница! Свобода! – в Елене вновь во весь рост поднялся ужас – истошный, и не менее реальный, чем внезапно выросший вокруг вокзал и город – ужас перед всякой неотвратимой технической мелкой дрянью, которая вот-вот сейчас вот уже, через пару минут на нее нагрянет: как они сейчас будут выходить из вагона? А вдруг Воздвиженский схватится понести ее сумку? Или еще чего хуже, подставит ей руку на выходе, ну или еще какая-нибудь пошлость? В панике, но стараясь как можно реже пинать попутчиков, сосредоточенно возящихся на полу с молниями и кнопками, и пытающихся насильно накормить жирными съестными объедками своей и без того уже ободравшейся одеждой багаж, Елена молча, сжав зубы, выгнала пендалями свою сумку сперва вон из купе, – затем провела пять метров жестокой и нечестной корриды против стреноженных и пытящих корячащихся существ вдоль по коридору в тамбур, – а там уже, рванув огромный рыжий рычаг на двери (больно бодавшийся, если не успеть вовремя отскочить, точно как локоть нетерпеливых сограждан, и мстительно сложившийся на прощание при открытии в соответствующую образу неприличную фигуру с закавыкой) – она резко, на последнем дыхании поддала голенью ускорения своему нейлоновому спортивному баулу, – тот с живым, неожиданно кожаным, стуком первым рухнул на мюнхенский перрон, – и сиганула следом за багажом.

Приземлившись, Елена, в секунду позабыв про весь мрачно маячивший в самых страшных ее ожиданиях всего миг назад мешанский кошмар, хлопнулась прямо здесь же задом на сумку, как на диван (хотя и неудобно уменьшенный), примяла его хорошенько, и, выделав, наконец, сносное гнездо, откинулась, задрала голову – и с наслаждением обнаружила себя в огромном воздушном аквариуме для голубей, которые вели себя так, что не оставалось никаких сомнений, для чьих, собственно, путей сообщения это здание построено: синхронно и грациозно промахивались навстречу друг другу между сводами и перемычками и ритмично (и, вполне вероятно – по расписанию) прокладывали невидимые воздушные рельсы между всеми вертикальными измерениями и плоскостями вокзала.

В полсотне метров от нее, прямо во внутренностях вокзала как мираж разражался целый город из сверкающих душистых лавочек (с развешенными на стенах, как геральдика, тригонометричными кренделями, блестящими бриллиантовой солью крупной огранки, и стократно рифмовавшимися в зеркальцах и в зыркающих восьмерках модных очков в аптеке напротив, заваленной горами леденцов в светящихся и танцующих вокруг своей оси стеклянных ульях при входе, и из-за этого похожей больше на кондитерскую) и дальше – десятками как-то неве-

роятно перетекавших из одного жанра в другой – вслед за ее взглядом – кафе, конфетными эрмитажами и фруктовым антиквариатом – и все это зримое, вот здесь вот, на расстоянии обонятельной пробы воздуха, за стеклянными прозрачными стенками и с настезь распахнутыми ноздрями, то есть, дверями, обещавшими какие-то несметные радости россыпей сытного света, и ярких запахов, и смеющихся своему неведомому счастью незнакомых людей рядом.

Взвесив и распробовав небывалые ароматы, все то, что свербело в носу, все то, что было «пред-вкушаемо» в буквальном смысле («Запах – это же ведь просто сильно растворенный в воздухе вкус», – нетерпеливо внушала она себе сама под нос), мысленно исследуя все те обаятельные веяния, все те разлетевшиеся как в невесомости аппетитные частицы, что требовали скорей найти первоисточник в пространстве, она вдруг почувствовала, что главная и самая тревожащая – потому что теоретически невозможная – нота в этой вокзальной обонятельной какофонии – несъедобна, что проникает она снаружи, из-под распахнутых навстречу городу пазух станционной кровли, – и что это – невероятный, не-по-московски, не-по-мартовски, внятный, настойчивый и самоуверенный, диктующий себя всем остальным, кулинарным, прикладным, местечковым, младшим ароматам, как основной ингредиент: запах жаркой весны.

Елена стянула с себя, блаженно, будто душный кокон, зимнюю стеганую куртку: «Невообразимо! Первое, самое первое, марта. Выезжали из Москвы, из зимы, из февраля, из грязного, безвидного, узаконенного календарем бесстыжего месива снега перед Белорусским вокзалом. И вот уже хочется раздеться до футболки!»

Она вдруг с ознобом, как о дурном болезненном сне, вновь, вмиг, вспомнила во всех деталях о последней ночи, о чужом, смурном, грубом, вечно всем недовольном человеке, которого она почему-то, ни с того ни с сего, взялась приручать – и сразу до дрожи, до оторопи, до судороги, испугалась, что вся эта весна сейчас сгинет – по ее грехам. Зажмурилась на пару секунд – и с ужасом разжала веки.

Весна, однако, никуда не исчезла.

Вокзал тоже не развеялся – оставался огромной сияющей солнечной печью, где выпекались все эти съестные запахи – а жар все-таки исходил снаружи. Неопровержимое солнце без всяких компромиссов врвалось и, властно, разом, со всех сторон, заполняло собой внутреннее воздушные полости – сквозь все доступные периферийные дыры, окна и прорехи – и, как дирижер, заставляло звучать в нужном ритме и нужной последовательности все сгрудившиеся здесь, как в угловатой гигантской оркестровой яме, подручные инструменты: и ослепленные бликами лбы позвоночных полозов поездов; и ударные лучистые бакалейные лавочки, непрестанно скачущие и пляшущие туда-сюда за прозрачными заламинированными солнцем дыщ-дыщ-дыщ, дыщ-дыщ дверцами; и блёсткие едальни с залакированными посетителями, мерно и с удовольствием поигрывающими смычками ножей на персональных своих солнечных тарелках, имеющих обязательную зыблющуюся, перекатывающуюся, переливающуюся, медовую пару на потолках; и все, все, все эти бесконечные кружащиеся и голосащие в хоре фруктово-цветочно-мороженно-сладко-жаркие сладостно сладкожежно творожно повидловые магазинчики, на волнистых струнах почти невидимых стеклянных стен которых солнечный свет играл как на арфах, заглушая электрические ватты в общем-то ненужных, избыточных, подстраховочных их люминесцентных рампы, которые Елена, обманутая слепящей глаза яркостью взвеси, в первый момент по ошибке приняла было за основной источник торжества; и – наконец, как последний изыск – как на крошечной портативной перкуссии – играло солнце на правом хромированном колечке крепления хлястика рубином разгоревшейся ее нейлоновой сумки: из него, из крошечного этого хромированного колечка (Елена любовалась им теперь чуть дыша, боясь шевельнуться и спугнуть чудо, с тайным чувством незаслуженно свалившегося на ее «диван» богатства) яркий луч высекал такие звенящие брызги и искры, что ослепли бы даже те сварщики в космических касках с затемненными намордниками, мимо костров которых на вечно перерывных канавах улиц Москвы Анастасия Савельевна в детстве проводила ее

за руку с благоговейным, даже суеверным каким-то ужасом (каждый раз повторяя одно и то же: «Не смотри, доча. Отвернись. Нельзя смотреть, когда так ярко. Слепнуть можно»); и – в довершение, когда Елена, в изнеможении от всего этого светопредставления, вновь откинулась спиной плашмя на сумку, задрав лицо кверху, воздух разрешился финальным аккордом над ее головой – более чем уместными (над всем этим вдохновенным вокзальным солнечным концертом-солярием) шквальными аплодисментами крыльев пепельных голубей.

Тем временем в тамбуре происходила борьба. Пока Анна Павловна пыталась законно возглавить колонну учеников, высокий, горбоносый, кадыкастый, в высоких казѧках своих, Федя Чернецов умудрился встрять вперед нее, раскрутившись к ней лицом, в дверях, и теперь растопырил руки и настырничал с проявлениями мужской галантности.

– Феденька, да что ты вцепился в мою сумку, как ненормальный? Отдай! – изнывала, как можно тише, чтоб не устраивать скандал на публике, Анна Павловна, пуще смерти боявшаяся прилюдно опозориться из-за учеников – тем более перед иностранцами.

– Нет, ну зачем же отдавать? Я ее вам сам сейчас снесу! И чемоданчик! И вас саму тоже! Дайте мне вашу ручку, Анночка Павловна! – орал и упирался Чернецов и галантно хрюкал.

– Феденька, уймись, не дам я тебе никакой твоей... моей, в смысле... никакой ручки! Отстань, голубчик! Дай мне пройти! – уже с легкими накатом угрозы в голосе наступала Анна Павловна, явно ничего не подозревавшая о внезапной Чернецовской к ней страсти, и приписывавшая Чернецовскую прыть жажде загладить недавнюю двойку по немецкому. Классная руководительница раздраженно дергала на себя свою маленькую коричневую дамскую сумочку, в которую Федя тоже вцепился мертвой хваткой, как будто бы это и был главный предмет его любви.

Образовался затор.

Не без боя, но чемоданчик Анна Павловна, все-таки Чернецову явно готова была бы уступить – не до вечера же тут в тамбуре торчать, – но за себя саму, а уж тем более за ручную кладь, она, похоже, решила стоять насмерть. В аккуратной коричневой дулеобразной сумочке были спрятаны у нее все документы класса, и Анна Павловна явно боялась даже вообразить себе, в каких похабных прикладных панковских целях может тут же злоупотребить ридикюльчиком буйный Федя.

Однако вошедший во вкус донжуанства Чернецов был уже ни на какие компромиссы не согласен. Ласково борясь с Анной Павловной, Чернецов заодно уже дважды хорошенько, и не без умысла, лягнул чемоданом Анны Павловны пузатого седого немца в клетчатых брюках и голубой рубашке с кляксами пота, расплывавшимися у него из-под мышек, как следы от несуществующих крылышек; у того из багажа оказался только с пыхтением сташенный клетчатый же пиджак и некрасиво заткнутый в нагрудный карман пухлый черный кошелек; потный баварец, судя по его позитуре в тамбуре за Анной Павловной, и по руке, как бы невзначай занесенной на уровне ее плеч, и подвешенной там на какой-то воздушный крючок, и, на трусоватой дистанции, разлаписто полуобнимавшей в воздухе ее фигуру, а также судя по умилению на его широком бордовом лице, и сам не прочь был предложить джентльменские услуги этой маленькой стройной болтливой русской, просплетничавшей с ним в купе всю дорогу на таком забавном чересчур правильном хох-дойче – однако вынужден был отступить перед юным напором Феи.

– Анна Павловна: только через мой труп! – выпалил Чернецов. – Ну разрешите мне за вами поухаживать! Ну дайте мне сумочку, а! Вам что жалко, что ли! Вы за что меня так не любите, Анна Павловна?! Ну дайте мне ручку! Не любите меня, да?! Я плохой, да?! Я сейчас на колени перед вами встану! Я больше не буду! Я ща заплачу! Хрюй!

Опешившая от такой сентиментальности Анна Павловна, чтобы не плескать горячего в уже и так уже опасно тлеющий и заметный посторонним скандал, залепетала:

– Ну что ты, Федечка, такое городишь, а? Что ты несешь?! Как маленький прямо!

– Я уже большой, Анна Павловна, между прочим!
– Большой, большой, Федя, отпусти сумку!
– Скажите, что вы меня любите, Анна Павловна! Упаду вот ща иначе вот тут и умру!
– Конечно я тебя люблю, я вас всех люблю! Все тебя любят! Только отдай сумку, тебе говорят! Немедленно! И уберись с прохода!

Окрыленный Чернецов на молниеносную долю секунды усыпил бдительность дамы сердца, выпустив из рук ее сумочку – Анна Павловна на миг ослабила оборону:

– Ну вот и молодец, Феденька...

Что и стало ее роковой ошибкой: едва Чернецов почувствовал послабление, правой рукой уже намертво схватил ее чемодан, а левой вертко обвил стан Анны Павловны, подхватил ее за талию и вытащил (разумеется, вместе с сумочкой) истошно орущую, уже напрасно, в воздухе «Федьтычтосовсемсдубурухнулпоставьменяобратно!») учительницу, пытающуюся зацепиться руками за что-то уже невидимое и неважное позади себя – за пуговицу на потном пузе клетчатого немца, за рыжий рычаг двери, за одежду напирających учеников, – и от этого похожую со стороны наблюдательного пункта Елены на умыкаемую греческую безрукую статую, элегантно извивающуюся и барахтающуюся в руках похитителя.

Чернецов же, ставя свою визжащую добычу на перрон, ухитрился еще и немедленно извернуться и заговорщески подмигнуть Елене, подлец. После чего громко и неудержимо заржал на весь перрон:

– Ништя-а-ак!

Увидев, что сейчас, вслед за пробкой-Чернецовым, откупорившим вагон, жерло тамбура изрыгнет на нее и всю остальную сжиженную, сжатую, изрядно взболтанную, вспенившуюся и уже злую массу, Елена срочно эвакуировала свой бивак, подхватив его за ухо и унеся волоком – уже совсем вплотную к киоску со смуглыми кренделями и булкоидами, сияющими кристаллами соли, как роскошная ювелирная выставка.

– Как вот это, пожалуйста, называется? – не вытерпев подскочила и спросила Елена, тыкая в бараньи рога, скрученные до абсолютной небодучести.

– Pretzel.

– Und das?? Вот эта, вот эта, кругленькая булочка, надсеченная крест накрест?

– Semmel.

– Und das?! Вот эта, кишка!

– Laugenshtange!

– Чего-чего? Лангэ шлангэ?

В это время взъерошенная Анна Павловна, едва оправившись от шока, стараясь не смотреть в сторону галантного нахала, силилась встать на перроне в приличествующую менторскую стойку. Громким, крикливым, профессионально слегка сорванным и часто из кашля взлетающим на фальшивые альты, голосом, давно оглохшим от собственного и чужого ора в классных комнатах, она наскоро ставила заплатки на подорванную Чернецовским терактом репутацию:

– Все немедленно сюда!

Одновременно Анна Павловна быстро, мелкими незаметными движениями оправляла и одергивала по бокам длинную серую юбку, по всей длине, как будто заново скраивала ее на себе, заново выводя линию бедер, – и, поводя плечиками, возвращала к симметрии пушистый, фигуристый, нежно-серый, очень идущий ей свитер, с высоким отворотом под горлом, и наскоро приглаживала изрядно взлохмаченные за время поездки (еще в Москве на бигуди уложенные и намертво залаченные) стриженные волосы, которые теперь стояли отдельными распавшимися фанерными штабельками.

– Никуда не расползаемся – где я вас потом ловить буду? Все подходим сюда! Все стоим ждем всех! Где все? – абсурдистски восклицала Анна Павловна, явно втайне надеясь, что среди «всех» остался хоть кто-то, кто не успел увидеть романтической буффонады в тамбуре.

Елене крайне не терпелось еще выяснить, как называется вот это вот закрученное косичкой произведение бриллиантового соляного искусства (которое она бы окрестила попросту журавликом – по мотивам Анастасии-Савельевниных сладких печений с хитрющим изюмом вместо глаза), сиявшее на витрине – вот там вот! – в соседнем высоком открытом киоске! – но расследование пришлось прервать – из сочувствия к Анне Павловне, опасавшейся что амурное нападение панка могло подорвать ее авторитет. Жертва продвигалась по направлению к Елене, на ходу проделывая какие-то резкие, как будто у нее отросли лопасти мельницы, упражнения для спины, и посекундно оборачиваясь, и оглушительными гаркающими гусиными звукоподражаниями «Куу? Да!» скликая гурт.

Румянец на щеках держащейся бодрцом классной был все еще заметен даже из-под нейтрального макияжа с защитным слоем пудры.

Впрочем, уже через пару минут, когда все вывалились на перрон и загалдели, мигрируя по платформе мелкими молекулярными образованиями, а Чернецов, присмирив, хотя и преследовал неотступно по пятам мишень обожания, но глазел, в основном, по сторонам, и, из уважения (то ли к учительнице, то ли к городу), заткнулся, происшествие в дверях уже было забыто начисто.

Воздвиженский выбрался из вагона позади всех, почти последним, как-то по-кукольному осторожно выставляя вперед ноги носками врозь в песочного цвета замшевых аккуратных ботинках с тонкими шнурками и широким кантом по краям, и сосредоточенно зашагал, разглядывая платформу и брезгливо и педантично избегая наступать на авоськи, ремешки и хлястики спутников, раскинутые перед ним по перрону мелкой сетью.

II

Взять У-Баан. Взять Эс-Баан. А также не забыть прихватить телеграф, телефон и гидроэлектростанции.

– Булочную! Не забудьте захватить булочную. Или, лучше, булошную – по-старомосковски!

– Можно душ, тоже?

– Ох вы все у меня сейчас доостроумничаетесь! – причитала Анна Павловна, сняв плащик, перекинув его на локоток, болезненно наморщив носик, и тщетно пытаясь сориентироваться на местности, зачитывая с бумажки вслух, как молитву на вымершем диалекте, обрывки инструктажа. Явственно звучавшего при переводе, как операция по захвату города.

Двойки, неуды, колы и прочие мелкие гвоздики вдруг стали не более действенны и реальны, чем угроза: «Я скормлю тебя на завтрак плезиозаврам» – невесомым мусором на левой чаше весов. С осязаемым новым свободным миром – на правой. Анна Павловна явно чувствовала себя как голая на арене. Ученики вдруг оказались страшно текучим материалом, разбрызгивавшимся сквозь пальцы по всему вокзалу, да к тому же еще и материалом вполне ядовитым.

План захвата Эс-Баана, переданный ей мифологическим Хэрром Кеексом, оскорбительно предписывал немедля же, не выходя из вокзала в город, спуститься по эскалатору – в ближайшую нору, где гнездовали электрички.

«Как?! Вот так вот пройти мимо всех этих лавочек – и ни кусочка даже не попробовать?!» – поразила безрадостности прожекта Елена. И больше всего страстно хотелось сейчас же хоть на секундочку выскочить на улицу – вот, хотя бы туда! – под навес – где сполна глотнуть уже обещанного жаркого воздуха – залога, которым город уже поклялся в своей реальности! Город проглядывал сквозь застекленные части вокзала и в полголоса делал вдогонку все новые и новые невнятные посулы.

– Мне срочно надо в аптеку! Анна Павловна, извините! У меня очень горло болит. Срочно нужно купить травяных леденцов от кашля. Вон, я вижу, здесь продаются! Я буквально через минутку вернусь! – безыскусно выдумала Елена повод для бегства, пытаясь забиться по дороге хоть в какую-нибудь сверкающую лузу, мимо которых они проматывали картинку так быстро, что, казалось, походя кощунственно аннигилировали целые галактики и созвездия.

Горло и впрямь, кстати, побаливало.

– После, после... Умоляю! Нас же ждут! – застонала классная (хотя знала прекрасно, что западногерманских марок все равно ни у кого нет ни копейки), – но сию же секунду притормозила, с подозрением на Елену посмотрела, тут же почему-то перевела взгляд на шмыгавшего носом Воздвиженского, и вдруг сама шмыгнула носом – впрочем, ничего больше комментировать не решилась. И продолжила свою рысцу вперед.

У условленной тумбы, возле самого спуска к электричкам, под вампирской громадной рекламой: «Отдай!», где костлявая рука сжимала красное сердце, пытаясь выжать из него еще хоть капельку крови (и с подозрительным слоганом внизу – «Те, кто сдают кровь, едут на небо!»), – словом, в том самом месте, куда так спешила Анна Павловна, никакого посуленного Хэрра Кеекса не оказалось.

Дюжина размякших после двух с лишним дней дороги существ уронила поклажу на пол и, как будто бы пол оказался в клею, вдруг разом лишилась способности передвигать ногами, вяло колеблясь только верхней частью, словно стебли растений, а местами и вовсе сократившись и упадочно сложившись вдвое, до сумочного формата. Свербящее, страстное, все требовательнее вербализуемое внутри и уже нестерпимое желание погулять скорее в городе – причем – непременно одной – пробуждало в Елене уже просто-таки необоримую неприязнь к компании. Любимая Аня с ней все равно строжилась и не разговаривала (сердась, видимо, за то, что Елена ночью выбрала ехать в другом купе), а нарочито осклабясь обсуждала какую-то мещанскую белиберду с коротенькой круглолицей Фросей Жмых с миллиардом веснушек на лице (волосы у нее были до того легкими и тонкими – что больше походили на подпушек – и Фрося завивала их даже не плойкой, а каким-то модным перпендикулярным электрическим зажимом – отчего невесомые волосы ее приобретали форму вафель), травившей байки о жизни с родителями в дипломатической резервации в одной из советских ближневосточных колоний; Аня выслушивала мажорскую лабуду нарочито благосклонно, и без единого взгляда в сторону Елены. Воздвиженский стоял надутый, и за что-то все время раздраженно задира Дьюрьку. Дьюрька же, в свою очередь, предпочитал держаться Анны Павловны и маниакально добивался от нее сверх-конкретной численности населения Мюнхена:

– Нет, ну а реальное число жителей каково? В Москве вот, например, невзирая на то, что по официозным данным восемь миллионов, но в действительности – уже... Ну, вы же меня понимаете, о чем я?

Но Анна Павловна уже ничего не понимала, кроме, разве, того, что, по данным вокзальных диспетчеров, их поезд прибыл с семи-часовым опозданием, и по громкоговорителю до сих пор приглашали встречающих подойти к перрону – откуда они уже десять как с гаком минут тому отвалили. И даже Чернецов отвял от Анны Павловны, сел на пол и вытащил из кармашка джинсовой куртки губную гармошку. Анна Павловна сделала страшные глаза. И Федя гармошку тихо убрал. Даже без хрю. Потому что играть он на ней все равно не умел. И вместо этого, остервенело разрыв недра собственной сумки, извлек на свет уже знакомую Елене рифленую клеенчатую тетрадошку: с чесоточным наслаждением поскоблил по ней сразу всеми ногтями – для звука – и, оставшись доволен мучительной реакцией лиц близсидящих, приготовился протоколировать свои амурные чувства за новое число. Впрочем, его биговская ручка быстро застряла на любовно обводимом, по сотому разу, и уже осоловевшем от этого, нуле года, которому были тут же пририсованы глазки и реснички, после чего изобразительные планы Чернецова резко изменились: он развернулся, и, вскидывая голову, стал быстро срисо-

вывать покорившее его воображение кровавостью сердце на рекламе союза баварских доноров, дорисовав от себя кривую стрелу и выписав рядом каллиграфические инициалы «А. П.».

Три неприметные грации – канававский цветник Гюрджян, Добровольская и Рукова, стояли чуть поодаль, сколь миловидные, столь и застенчивые, и тихо вибрировали всеми лепестками, как будто бы от невидимого ветра, исходящего из центра их композиции, и хихикали друг над дружкой. Вдруг, как только по громкоговорителю объявили отправление скорого поезда на Вену с двенадцатой платформы, Люба Добровольская, девушка с резкой челкой, неприлично громко вскрикнула, ойкнула, застонала и объявила подружкам, что готова прямо сейчас броситься в Зальцбург – «к своему любимому Моцарту!». Который, как, она, похоже, надеялась, все еще проживает по данному адресу, и все так же молод и недурён собой.

– А без экзальтации нельзя? – одернула ее вечной недоброй гримасой на лице щеголявшая Лариса Резакова, холодно и презрительно смерив фанатку взглядом умудренной домохозяйки, – и продолжила сладострастно обсуждать с Кудрявицким план возможных закупок, смакуя донесенные советским фольклором, и кем-то очень-очень рекомендованные, и никем на самом деле не виданные, и, вполне возможно, не существующие, но очень-очень дешевые, названия немецких супермаркетов.

Чернецов, не удовлетворенный монохромом собственной графики, как в казацком танце, подколдыбал, не вставая с пола, к трем канававским скромницам:

– Девчонки! Выручайте! Срочно! Нужен лак для ногтей! А то умру! Хрюй.

Те, раззябы, растерявшись от неожиданного мужского внимания, все три синхронно полезли в сумочки (в школе маникюр, как и любой макияж, был строго запрещен – но за границу боевую краску взяли – чтоб отыгаться) – Гюрджян вытащила флакончик лака первой:

– Только, ма-атри, верни!

Федя Чернецов, в абсолютном восторге, вскочил, перецеловал Гюрджян обе щекры ручки, потом, подумав с секунду, схватил и (пока они не успели опомниться) облобызал конечности заодно и двум остальным подружкам: под визг – стоптанные о пианино пальцы Добровольской, с утолщениями на кончиках, как замшевые молоточки, – и – уже получив две дружные затрешины – беззащитные, не холёные, а как-то сами собой цветущие, не когти, а миндальные лютики Руковой. А потом на всякий случай еще раз крутанул на каблуках рифленых казаков и обслонявил педантично заточенный ногтевой инвентарь Гюрджян:

– Мерси! Хрюй!

Товар оказался вожаделенного, пунцового, цвета.

Прискакав обратно на позицию, Чернецов поскорее, пока не отняли игрушку, шлепнулся на колени перед сумкой, на нее примастырил тетрадь, аккуратно и с нежной улыбкой ребенка вывел сперва кисточкой красные контуры, потом продольные волнистые кардиограммы, потом поперечные, и уже только потом густо-густо – туда-сюда взад и вперед и обратно, млея от удовольствия – опрокинул флакон – и, помогая кисточкой выползать жирным каплям, залил лаком сердце. Теперь уж рисунок ничем не уступал постеру баварских доноров.

В экстазе улыбаясь сам себе и творению, долго и страстно борясь с искушением сложить две странички всмятку, пока еще не застыло, и посмотреть, что из этого выйдет, Чернецов, все-таки, устоял и подул на страничку. Потом поднес к носу и понюхал. С громким комментарием «А-а-ахххх!» – смачно втянул в себя несколько раз запах. Благоговейно отложил сердце сохнуть. И стал мерно раскрашивать себе ногти.

Только сейчас, глядя сверху на маковку усевшегося прямо у ее ног Чернецова, Елена заметила, что он где-то ведь умудрился напудрить себе с утра в поезде волосы, причем изрядно: так густо, так старательно слипая и выпрастывая к центру кудлатую поросль, напрасно пытаясь выделывать ирокез, что теперь, если глядеть с небес, походил на подмоченного нагутаиненного щегла. С замечательными грядами белых пролысин. «Где это он раздобыл средство?» – рассеянно подумала Елена (которая свое растрепавшееся, хвалёное парикмахер-

шами на Герцена, «градуированное» каре – без всякого градуирования выскакивавшее локонами со всех сторон на лицо, – так и не смогла усмирить в вагонном туалете перед выходом из поезда). И, в общем-то, понятна теперь была обида Чернецова на неотзывчивую Анну Павловну, с учетом израсходованного, чтобы ее впечатлить, дефицитного парикмахерского материала. Надо бы, – мельком подумала Елена, – хоть раз использовать бешеного Федю в мирных целях:

– Слушай, Федь, а у тебя эта дрянь для волос еще осталась?

– Не-а. Всё выжрал, – честно ответил Чернецов, и устало хрюкнул.

Совсем близко, в каких-нибудь метрах ста от вяло колышущейся и становящейся все более вегетативной, группы, выросал под сводом вокзала цветник уже настоящий: живым изумрудом сверкала аркадная оранжерея цветочного магазина – огромного, размером с тропический зимний сад, уже перед самым выходом на улицу, перед самым козырьком, за которым садились в солнечные такси люди и уезжали в живые недра города – словно истинный пограничный контроль проходил именно по линии цветочной лавки, – и от этого просвечивающие сквозь стекло хлорофилльные дебри нагретых тепличных гигантов (которым солнце, как сторожам, охранявшим выход на волю, незаконно и щедро совало в лапы взятки) казались особенно притягательными!

Такого явного призыва улигнуть Елена упустить уже не могла:

– Анна Павловна. Простите. Но мне правда очень нужно в туалет, – как на уроке, с которого срочно надо было дёрнуть, выдала она классной руководительнице самый ходовой резон. И, решив (в лучших традициях Анастасии Савельевны, строчившей ей в детстве художественные объяснительные записки, когда нужно было удрать в Ужарово или в кино), что абстракции для правдоподобности не достаточно, наклонилась к маленькому аккуратному уху Анны Павловны, и более низким, прочувствованным голосом, сообщила обезоруживающие подробности: – Ужасно хочется писать! Просто сейчас лопнет мочевого пузыря!

А про себя добавила: «Если простою здесь в этом стойле со всеми еще хоть минуту – и правда лопну. От вас от всех».

Анна Павловна, обмозговывающая, где теперь отлавливать, из каких таксофонов, встречающих, то есть вовсе не-встречающих немцев, – уже ничего не ответила, и только болезненно наморщилась: типа, вот те дверь – вот те порог! Да идите вы все от меня куда хотите!

Елена дала бешеный кросс – и попала в два неравно борющихся потока толпы – волнобой, который силился вмяться в эскалатор и скатиться вниз, и другой – бывший со всех сторон во все стороны – который вообще не понятно куда хотел. Навстречу ей, с чудовищной скоростью, несло великана-негра в белой искусственной шубе, издали заметного, бултыхавшегося торсом над толпой вверх и вниз, как рельефно закупоренная темным сургучом бутылка с посланием, болтаемая взбесившимся морем.

«Бедняга. Он, должно быть, взмок под шубой как енот», – подумала Елена.

Но как только негр поравнялся с ней, стало видно, что под шубой у него, кроме джинсов с красивыми дырами на ляжках спереди, заплатанных розовыми детскими картинками, как будто откромсанными от его же пижамы, и странно корреспондировавшимися с цветом его же ладошек (их он нес навыворот, с немного растерянным видом, как будто он только что купил руки, а они оказались слишком велики даже для него), – так вот: под шубой у негра, кроме джинсов, прикида не было ровно никакого, так что отлетевший от размашистого рывка на ходу белоснежный синтетический ворот со сквозняком распахнул абсолютно голую, абсолютно лысую, абсолютно плоскую грудь великолепного, натурального, кожного дубления.

Кофейный люд был в Москве дефицитом. Как, собственно, и сам кофе. Штучные экспонаты, внедренные в жестко блюдомую советскую расу гибридом блудных связей оттепельного фестиваля молодежи, а также их отпрыски, еще более разведенные молоком, официально считались людьми как бы бракованными, пятого сорта, и стыдливо рассовывались и запрятывались

вались по всем закадровым дырам, чтоб ни-ни не чай чего не появились в публичном месте или на официальной должности – забыть уж про должности дикторов, ведущих и прочую публичную системную шваль. Так что тех самых «грязных негров», которые «ногами ходят по апельсинам» (как участливо в полголоса внушали в школе советские учителя малолеткам, стимулируя их мыть редко перепавшие дефицитные фрукты из Марокко перед едой), можно было разглядеть только по телевизору в любимой Дюрькиной «Международной Панораме», ужасавшей отзывчивых зрителей историями о том, как дружескую эбеновую братву эксплуатирует за рубежом апартеид.

Теперь, внезапный образчик высочайшей, максимальной, безмолочной, кофейной концентрации настолько затмил собой все прущие с чемоданами ордища белых басурман, что на его фоне немецкая популяция на секунду показалась толпой удивительно некрасивых, но чрезвычайно ухоженных женщин и блеклых неинтересных мужчин с нездорово правильными зубами.

Так себе. В меру обструганные, в меру выдолбленные, проходящие мимо светлые стволы деревьев. Был полено – стал мальчишко.

Писать, как ни обидно, совсем не хотелось. Забежав в уборную (чисто из долга вежливости к Анне Павловне – потому что ненужные удобства пришлось разыскивать минут пять), Елена чуть не завизжала от восторга: на входе в туалет стояли как будто бы игровые автоматы – требовавшие опустить игровую фишку в десять пфеннигов. Десять пфеннигов, впрочем, тут же обнаружились в металлической пещерке для сдачи, и, под взглядом флегматичной рыжей, крашеной, залаченной на мужской пробор за уши, очень поджарой и очень не скоростной дежурной (оперировавшей с клиентами только правой рукой, а левой безотрывно занимавшейся обертыванием своего многоступенчатого носа в салфетку: «Нет-нет, ну что вы, просто аллергия – ох уж эти кошмарные нарциссы – везде повывлезли!», и выглядевшей как карикатурная врачиха в приемном отделении в коротком кокетливом белом халате, как будто сшитом по ее мини-юбке пеналом, из которого торчали неприличной пинцетной худобы козеножки), Елена была провернута турникетом как фарш внутрь музейно-туалетного объекта, который насквозь благоухал парфюмерией, имел молочные стены, пуфы у зеркал с раковинами, смешное по-русски звучащее название держалки для туалетной бумаги: «Бобрик», и благословенную ножную педаль для спуска в кабинке – специально для брезгливых! – и тут же оказалась выпущенной неожиданно целой и невредимой обратно на вокзал.

Избегая даже смотреть в сторону сонных спутников, чтобы ненароком не разбудить их взглядом, за версту оббредая их, держась за кулисами толпы, и сосредоточенно не смотря, не смотря, не смотря в их сторону, она споткнулась у запертого окошка кассы об еще одну абсолютно черную особь – на этот раз уже женского пола: негритоску, чуть старше ее, сидевшую на полу, напевая что-то, и раскачиваясь; по странной, общевидовой, колористической тяге, она тоже была в белоснежнейшем свитере, – и сливочном, бесконечном, живописно растекавшемся по плитам пола вокруг нее, как скрижали на старых иконах, шарфе кривенькой ручной вязки с бородами на концах, а плюс к этому слушала черный плэйер, зарыв черные наушники и провода под как минимум двумя сотнями черных же косичек с радужными застежками на конце каждой, отчего сами эти косички, отчаянно торчащие с орбит головы во все стороны света, казались антеннами и проводами, присоединявшимися прямо к воздуху. В ту секунду когда Елена чуть не полетела через голову, зацепившись (с мелким медным, раскатившимся, звоном) левым кроссовком за негритянское колено, кожаный, чуть приплюснутый игрушечный нос задрался вверх, сплюснулся еще больше от улыбки, убрал под себя, как складной стул, с дороги ноги в белых полу-кедах и очень черных чулках из-под белой джинсовой миди, попросил прощения на неведомом языке, и принялся собирать с полу в альбиносную ладошку разбежавшиеся из нее монетки – а собрав и пересчитав, нос довольно возвратился к задушевному

общению с разложенным на коленях паспортом и любовно улыбнулся собственной фотографии.

Цветочная оранжерея – до которой – наконец-то! – дорвалась Елена, – оказалась восхитительного, сквозного устройства – с выходом с противоположного конца. Влетев – Елена как сквозняк всю ее и пролетела, перездоровалась за руки с пальмой, застрявшей пяткой в кадке, перенюхала каждую из небывалых удушливых алых лилий и каждую из пахших розами роз – рослую, кофейную, молочную, чайную; всунула по неразборчивости хоботок на лету даже в толстый кактус размером с бочонок пива, с мягкими желтыми иглами и мясистым цветущим пламенем на боку, выдавшим неожиданно лимонный аромат; и, наконец, обняла никогда не виданные, но тысячи раз (и неверно) воображаемые (по мотивам Евангелия) миниатюрные оранжевые азиатские лилии: их тычинки оказались густо присыпаны какао, и бархатно пощекотали нос, а на внутренней стороне чашечек обнаружились остроумные крапинки – явно с тех времен, когда прота-модель их тычинок щедро присыпали из щепотки шоколадным порошком, и он слегка просыпался на лепестки, а потом подлили воды, и каряя пудра размякла и навечно прилипла к чашке. Короче, те самые лилии, хрупким совершенством которых Спаситель изящно пнул блудника Соломона. Пахли они просто чистотой и свежестью – короче, несчастный развратник-перестарок царь действительно не выдерживал, по сравнению с лилиями, никакой конкуренции. Елена уже даже не визжала, а жужжала от счастья, носясь от цветка к цветку по оранжерее на реактивной скорости, как влюбленный шмель, страшно опаздывающий на свидание – и, уже вылетая сквозь симметричную дверь в другом конце, чуть не сбила с ног молодого вороного красавца курда с прекрасной бордовой наомией в зубах, а в нижнем ярусе – с двумя раздутыми обшарпанными старыми каштановыми чемоданами. Глаза курда сияли: он явно был в схожем с ней состоянии, но слегка по другой причине: кажется, бросил все и налегке махнул жить навсегда к своей любви – а наомия, одна-единственная темно-бордовая роза для любимой, минималистично спеленутая в сюду, кажется, была последним, на что у него хватило денег после переезда. При столкновении с Еленой он, как канатоходец, резко качнул бутон в зубах в сторону, чтобы восстановить баланс и не упасть: замычал – что-то счастливое, чуть не плача, жонглируя чемоданами, и явно обожая весь мир – так, что даже воздух вокруг задрожал: стеклянные стены оранжереи, казалось, сейчас рухнут от резонанса двух абсолютно счастливых людей – одним из которых Елена вдруг от всех этих чудес вокруг вновь на миг себя почувствовала – разбежавшихся в разные стороны.

Ровно в этот момент, с противоположной стороны света (оттуда, куда сама Елена минут десять назад сбежала), к группке забытых одноклассников размашистым шагом подошел круглощупый, рослый, худощавый, но довольно крепкий мужчина со светлыми бородой и усами – человек очень русского вида, как будто сбежавший с картинок либеральных народников девятнадцатого века, и, вкусно, с тяжеловатым «о» каньем (таким сочным, таким старо-русским – как будто и вправду долго хаживал «в народ», учился языку у каких-нибудь дореволюционных волжан-простолюдинов) – но все-таки на абсолютно чистом русском языке (без малейшего немецкого присвиста) – словом, на языке, ничуть не казавшемся странным при его внешности – гулко и округло протянул:

– Ну-у? Как д «о» ехали?

Вытаращились на него все, включая стоймя читавшую книжку Аню, и фальшиво прихрапывавшего уже Чернецова (который на полхрапке отвесил челюсть, да так и заledenел с разинутой пастью и глазами на полчетвертого) – все уже так привыкли ждать немецких провожатых, что вдруг представший по-русски окающий селянин вызвал эффект пресловутого плезиозавра, вынырнувшего за завтраком из стакана чая.

– Я вас весь день ждал! Справлялся в железн «о» д «о» рожных службах! В «о» всех н «о» в «о» стях п «о» телевиз «о» ру т «о» льк «о» и г «о» в «о» рят: очень сильная шт «о» рм

«о» вая гр «о» за! Ураган! Есть даже жертвы. Рад, что вы живы-зд «о» р «о» вы. А сейчас я к поезду х «о» дил – вас там искал. Рад, что вы здесь!

На русскоязычном мэне были темно-зеленые вельветовые джинсы, да такие широкие, такого вольготного, старомодного классического «брючного» покроя, что коленки казались как будто оттянутыми. И как будто был слегка коротковат ему (так что манжеты рубашки выпрыгивали целиком) чрезвычайно, впрочем, аккуратный мягкий коричневый пиджак, за лацканы которого он крепко держался обеими руками, как за спасательный круг, и в ритме своей речи их поддегивал.

Анна Павловна (единственная, кто Кеекса уже видел в Москве) осторожно вытянула вперед перед собой свою маленькую ладошку, поигрывая пальчиками. И тут же чересчур явно отпрянула, когда долгожданный Хэrr Кеекс хорошо, тяжело, по-товарищески, и без тени жеманства, затряс ее руку в своей крепко скроенной пятерне. А через миг крепко и со вкусом выговорил:

– Ну! П «о» ехали, как г «о» в «о» рил Гагарин!

– Только тебя все ждали! Где ты была? – зло и с какой-то необъяснимой мстительной обидой в голосе набросился на Елену (ровно через секунду после немца подошедшую) Воздвиженский. – Ты что, не могла в поезде, что ли, в туалет сходить?!

– Бобрик! Бобрик! – уже хохотала Елена, тут же от него отойдя – и отвечая на расспросы (о немецком платном сортире) Ольги Лаугард – с восторженным ужасом на нее тарашившейся.

Подробности про бобрика, а особенно деталь про десять пфеннигов при входе в нужник, впрочем, мало умилили эконожных и нетерпеливых друзей.

Подлетев к Дьюрьке, уже ступившему на эскалатор, Елена поднырнула и весело вделась своей рукой ему под руку – как часто дельвала, когда они шли куда-нибудь вместе и болтали. Дьюрька немедленно и радостно взвалил себе на шуйцу ее сумку поверх своей собственной (чуть не пошибав всеми этими громоздкими раззудись-плечо операциями сначала впереди-, а затем и сзади-стоящих, как кегли, попутчиков на узкой эскалаторной лесенке), а Елена еще и навязала к ручке своей сумки ненужную снятую с себя куртку, а потом с каким-то детским упоением щекой почувствовала себя прижатой к Дьюрькиному же правому плечу – круглявому, смешливому, родному, по-девчачьи ходившему ходуном от хихиканья, иногда несшему чушь про сионистский заговор Ленина и Троцкого, но никогда не предававшему ее. Вид Дьюрькиной худосочной, полупустой, драной и раздолбайской спортивной сумки, болтавшейся теперь под ее собственной, с левого борта – тоже почему-то доставлял дивное наслаждение.

Так они и скатились с Дьюрькой, чуть не кубарем, по эскалатору к штрассэн-баану, расцепляясь и опять сталкиваясь друг с другом, как отварные яйца на валком блюдце, пихаясь от хохота.

– Рояль! – раскатывался Дьюрька, комментируя ее рассказ про педаль возле унитаза: взял всеми своими пухлявыми десятью пальцами ястребиные аккорды в воздухе и сделал полагающийся фортепьянный жест правой ногой – чуть не пожертвовав при этом толпе стоптанным запылившимся ботинком.

И непристойно разом покраснел от смущения, как только дошло до туалетных деталей.

– Я даже салфеток-то таких мягких – и то в совке никогда не видела, как эта волшебная туалетная бумага! И чисто белого цвета! – не жалея Дьюрьку, добросовестно живописала Елена степень великолепия сортирных аксессуаров. – Знаешь анекдот? «Зато есть наждачная – и конфетти!»

– Нет, ты абсолютно не права! – наливаясь все больше румянцем, серьезно возражал Дьюрька. – В Советском Союзе, безусловно же, есть мягкая наждачная... в смысле... ты меня сбила... то есть, туалетная бумага – но только у членов Политбюро. А на что ж еще, ты думаешь, они остатки золотовалютного фонда тратят? А? Вот. Конечно же: завозят себе в норку, каждому, по несколько мягких рулончиков в год отсюда, из-за рубежа. И это логично! – с гор-

бачевским «хгэ» и ликующей, восходящей интонацией генсека подытожил Дьюрька. – Членам Политбюро туалетная бумажка гораздо нужнее! Потому что в попе у членов Политбюро какашек больше! У них же, в отличие от нас, еда есть! – резюмировал страшно довольный своей новой социальной идеей и весь уже бордовый от молотова-коктейля хохота и стеснительности Дьюрька. – Хотя, может, и у них уже закончилась...

Мельком оглянувшись на набучившегося и выкатившего на нее злые глаза Воздвиженского, все еще бубнившего что-то про ее безответственность, Елена про себя решила, что не зря с ним не разговаривала последние полчаса на мюнхенской земле.

III

По загадочной для нее самой причине, когда в субботу поздно вечером, сидя на лестнице, обитой восхитительно непрактичным белым хлопковым ковром с жатыми, завитыми, густыми, махровыми, закрученными как будто на мелкие бигуди тычинками чуть не по щиколотку, зачаровывающе ниспадавшими со ступенек нахлопками и сугробами (так, что бродить по ним становилось изумительно мягко и опасно), и подбирая со ступенек эпитет для этого то ли томленного молока, то ли чуть-чуть подтаялого снега (этими скорей гималаями, чем альпами, начиналось для нее каждый раз восхождение в отведенную ей спальню – из прихожей, мимо столовой, через гостиную, на третий этаж смешной крошечной виллы: телефонный провод, к счастью, к ней в комнату, на самый верх, из гостиной не дотягивался; аппарат, одетый в полиэстеровую бежево-пепельную шубку, как мягкая игрушка, с молнией на пузе и прорезью для мордочки диска, застревал на половине третьего этажа, и трудно было бы выдумать лучший предлог лишний раз посидеть рядом с этой пумой на махровых горных отрогах), она в очередной раз звонила поболтать Крутакову (потому что хозяева дома просили, настаивали, требовали, чтобы она непременно звонила каждый день в Москву матери – любезность тем более ценная, что на этом их демократичного стиля забота о госте и заканчивалась; но не тормозить же, право слово, Анастасию Савельевну каждый день), из всех впечатлений первого яркого мюнхенского дня на вокзале, повинувшись какой-то легкой невидимой руке, нарезавшей купюры, она беспрерывно все рассказывала и рассказывала только про солнце, и больше ни про что – как будто именно солнца никогда раньше не видывала.

– Говорю же тебе: прожаривает как бутерброд!

– Бутерррбрррод?! Какой из тебя бутерррбрррод – на тебе же мяса совсем нет – бутерррбрррод! Коррроче – грррадусов... Ну? Сколько?! Грррадусов семь, наверррное, от силы? Пррризнавайся? – азартно орал Крутаков на том конце, и как-то смешно и странно было слышать отсюда, из Мюнхена, с этого ковра, в котором немудрено было заблудиться пальцами, его картавый голос, чрево вещающий из утробы мохнатого зверя-телефона. И Елена крепче прижимала трубку к уху, боясь, что его голос вдруг слишком громко выпрыгнет из трубки, раскатиться по всем этажам дома, и эвфемизм «звонки маме» будет разом разоблачен.

– Ага! А двадцать градусов – не хочешь, Крутаков?! А бутерброд – ну, скажем, с сыром и жареными грибами! Ну ладно, так и быть – не бутерброд – а пицца! Короче: солнце пропекает как пиццу! – дразнилась она, бродя босой ладонью в махровых снегах. – Всё вокруг сияет и цветет!

– Ах ты уже там и пиццу попрррррбовала, за-а-аррраза! – хохотал над ней Крутаков. – Нет, вы посмотрррите, как эта постыющаяся вегетарррианка ха-а-арррашо пррристррроилась! Двадцать грррадусов – это ты загнула! Голову даю! Загнула!

Загнула, но не градусы, а длинные махровые тычинки: она скакала теперь по ступенькам на коне по пояс в спелых пшеничных полях, и при этом рука становилась идеальным кентавром – щедро выделявшим из себя и строптивую лошадь и отчаянного седока.

– Ну ладно, ладно – на солнце – точно двадцать!

– Кто же на солнце-то считает! – хохотал Крутаков. – В тени все норррмальные люди меррряют! Жухала!

– Да? А когда пиццу запекают – тоже, по-твоему, у повара под мышкой меряют, а не в духовке?!

– Дурррында. Это ты пррросто пррросыпаешься! Ты пррросто пррроснулась – и поэтому тебе все так ярррко. Пррроснулась. И, ррразумеется, не со мной. Как я и пррредполагал. Шутка. Чесслово. Не швырряйся только опять трррубками как обычно, а то это уже будет совсем нечестно! Я ведь тебе перррезвонить не смогу. Не на Центррральный же телегррраф мне тебе телефониррровать бежать.

– Сам дурак, – нехотя отбивалась от вечных насмешливых его, на грани фола, шуточек Елена – и, подумав, рассказала даже щедрую надбавку про негров в вокзальном бедламе. (Теперь она уже изображала средним и указательным пальцем косилку. А большим, мизинцем и безымянным продвигала комбайн вперед по крутым лугам).

Смешно, но с температурой к ней с самого приезда в Мюнхен приставали буквально все. Как будто с бесконечной точностью подстраивая, подлаживая под нее пейзаж.

Началось все с того, что Марга, хозяйка дома, пятидесятилетняя пышнотелая красotka с обгорелым носом и бордовыми отрогами щек (только что вернувшаяся с горных лыж – почему-то, из Турции), веселая женщина с очень приятным грудным голосом и столь же обаятельным музыкальным кашлем, однако настолько глубоко и насковзь прокуренная, что как только она раскрывала рот и произносила хоть слово, волна настоявшегося уже где-то, в ее недрах, курева просто сшибала Елену, и заставляла невольно и невежливо отшатываться, а Марга, слегка стесняющаяся своего байкового, смягчавшего все мюнхенского акцента (вместо цуг выдыхала цух, вместо замстаг – самтахх – как будто роняла семена слов в мягкую свежеспаханную баварскую землю; а «церковь» и вовсе рыхло подменяла «кухней» – и когда Елена, абсолютно без тени сомнения уверенная, что для каждого вменяемого человека на цивилизованном, христианском, неопоганенном коммунизмом Западе, куда она наконец-то выбралась, проблемы веры – как и для нее – вопрос жизни и смерти, – и чуть не с порога жадно задала Марге в лоб вопрос, в какой храм она ходит, – Марга испуганно вытаращилась: «А зачем тебе?.. Ну... Хожу... Иногда... Да нет не хожу... Ну да, по праздникам... Но не то чтобы по всем... Ну, так, изредка... Да у нас здесь... Вон, там, на главной улице одна есть... А почему ты спросила?»), волнуясь, что русская гостыя может ее не понять, наступала, стараясь придвинуть свое загорелое лицо как можно ближе и непременно говорить уста к устам – так вот первое, о чем Елену спросила пришибавшая бронхиальной гарью марльборо Марга, было: не хочет ли она принять ванну с дороги.

И как только Елена выразила горячую готовность пуститься в плавание, Марга подкосила ее каверзнейшим вопросом:

– А какой температуры воду вам сделать в ванне?

Елена ошарашенно пожала плечами.

Марга, приближаясь, и обдавая ее новой никотиновой волной, уверенная, что гостыя просто не расслышала или недопоняла, настаивала:

– А какой температуры ванну ты принимаешь в Москве?

Елена, уже не очень-то знала, какая у нее-то у самой температура, и была ли у нее вообще в наличии эта температура, и вообще уже на каком она свете после двух дней дороги и безмозглых приключений. А тут от нее еще требовали аптечно-метеорологических точностей!

– Ну хорошо, – смилосердилась Марга, видя полную растерянность гостыи, – я сделаю тебе такую же температуру, как делаю себе, о'к? – И, наклонившись к ней совсем уже близко, и радушно удушая дыханием, убивая последние остатки кислорода под носом, и все еще подзревая, что проблема в ее произношении, – и поэтому – разборчиво и внятно, выдыхая с каждым слогом по-ма-кси-му-му сигаретного аромата прямо в лицо (особенно с ихь-лаут), доба-

вила: – А потом, если тебе покажется слишком горячо, ты мне сразу скажи! Я выставлю по-другому – поменяю на термостате!

И когда Марга уже зашла в ванну и проделывала хитроумные манипуляции с хромированными кружочками, как в рулетке выкидывающими ячейки температур, а потом взялась укрощать душ – то есть оказалась положительно занята, стояла спиной, и временно лишена шанса на нее дыхнуть, Елена, радуясь редкой возможности, и надеясь, что сейчас-то отведет душу и поговорит с ней без риска никотинового обморока, наконец, по-простому призналась Марге:

– А у нас дома нет в ванной термостата.

Марга с растроганными глазами, как будто именно в этой новости для нее вдруг материализовались все смутно слышанные рассказы про говенное житье за советским железном занавесом, тут же все бросила, обернулась, и ринулась к Елене, причем душ, который она до этого силилась приладить наверх между клеммами, сорвался, клюнул какую-то, видать – важную, кнопку, нырнул, радостно затанцевал на дне под уже успевшей набежать водой, и, извиваясь, пустил высокий китовый фонтан.

Придвинувшись к ней, вплотную, обняв по-матерински, приблизив лицо, так что бежать было некуда, Марга испуганно и дымно спросила:

– Как же вы знаете, какая температура в ванне... прежде чем туда залезть?

Не дождавшись ответа, с трагизмом в добрых глазах погладила ее по голове:

– Ум Готтс вуин! – со вздохом махнула рукой: типа, вот так вот и мучают детей в диких странах, – и вернулась к акробатическим номерам с душем; и вдруг, уже зависнув опять над ванной, хотела Елену еще о чем-то спросить, но запнулась и, вместо этого, засмеялась своим грудным добродушным смехом, тряся крупным бюстом в красной трикотажной кофте с треугольным декольтированным вырезом – и решила, уже, на всякий случай, не прося разрешения этой многострадальной русской, не соблюдающей никаких температур, долить на собственный страх и риск в клубившееся варево ванны любимую пенку своей дочери.

Стоя в дверях, и чувствуя себя дико неловко, как будто провалила какой-то элементарный экзамен, Елена вдруг с улыбкой вспомнила, как измеряла для нее температуру воды бабушка Глафира – стоя рядом с уже на половину наполненной ванной, закатывала по плечо рукав своего байкового, в ярких ягодах малины, халата, складывалась в три погибели, и мученически засовывала на самую глубину в ванну (согнутым треугольником) самое нежное и чувствительное местечко возле локтя, не доверяя своим загрубевшим ладоням, чтобы, не дай Бог, не обварить ребенка – и вдруг с айканьем выскакивала обратно ошпаренным локтем – и пускала из крана в глубоководье ледяную струю. И через полминуты повторяла подвиг.

Марга все возилась с норовившим нырнуть и поплавать в наполнявшейся теперь пунктуально по термостату акватории душем – это, видно, была как раз любимая его температура, а Марга пыталась покрепче приковать его под скучным потолком – понятное дело, кому ж такое понравится. И Елена от нечего делать, нелепо ступая по дивным ковровым холмам и долинам в выданных ей миккимаусовских тапочках, спустилась в гостиную, мельком с удовольствием отметив, что все стены вокруг телевизора сплошняком в книгах – только книги все какие-то странные: одинаково толстенькие и глянцево-цветастые. Хотела присмотреться поближе – как вдруг услышала снизу тяжелое дыхание гиены, бесстыже с грохотом опорожняющей мусорный контейнер. С любопытством спустившись на этаж ниже, вошла в столовую – никого; заглянула в кухню – и застучала там Катарину, дочь Марги (до ужаса не похожую на мать худую угловатую восемнадцатилетнюю гимназистку с черным пучком, с которой Елене предстояло ходить в школу) судорожно занимающуюся розысками в морозильнике, и, злясь не понятно на кого, раздирая и разбрасывая пакетики со льдом, тщетно пытавшуюся откопать хоть что-нибудь съестное под ледниковыми отложениями.

– Мне даже нечем тебя накормить с дороги! Мама же только что приехала – а у меня не было... ну, знаешь... – смущенно призналась Катарина. – Извини! Завтра мы обязательно вместе с тобой...

И не договорив, вдруг взглянула встревоженно на гостью и цепко прижала ей ко лбу свою ледяную и мокрую ото льда костяную ладошку:

– Ты вся пунцовая! И лоб горит. У тебя не жар ли? Знаешь, у нас грипп здесь какой-то гуляет – надо быть очень осторожной!

Елена уже плыла от усталости, и от все-таки никуда не исчезающего (бодришь – не бодришь), нависающего где-то на заднем плане сознания безответственного бесчинства, учиненного последней ночью (с которым надо было как-то либо срочно – прежде всего, в себе, в душе – разобраться, – либо немедленно выкинуть из жизни), и от всех этих новых заграничных впечатлений, и от желания скорее остаться, наконец, одной (роскошь, которой она была лишена уже почти трое суток – и, ох, только сейчас она по-настоящему ощутила, что одиночество это не роскошь, а хлеб насущный, главное и единственное средство первой необходимости, главный залог выживания – без которого она уже страшно, невыразимо, истошно, физически ощутимо, измучилась), так что и Катарина, и Марга, именно своей навязчивой, внезапной, неустрашимой, неустанной, подробной реальностью в жизни, да еще и в том самом месте этой жизни, где хотелось уже просто без всяких подробностей ухнуть в ванну – а потом рухнуть спать, – обе уже ощущались как, пускай и вполне миловидная, но галлюцинация; и поэтому Елена без боя призналась худощавому симпатичному призраку (похожему – может, конечно, тоже уже с усталости – совсем не на баварку, а на чернявую баску, с маленьким треугольным белым клеймом шрама, чуть рассекающим правую бровь в центре, и со смешными младенчески-страдальческими птицеобразными морщинками на лбу, собиравшимися над встревоженными, за все переживающими глазами, когда она молча вздыхала), так вот, с призраком этим уже совсем не сложно оказалось разоткровенничаться, что, да, что у нее слегка болит голова после бессонной ночи и долгого путешествия, и поэтому пойдет-ка она уже, пожалуй...

– Аспирин. Сейчас же, – Катарина заколготилась, быстро встала провернувшимся худым коленом в прорванных джинсах на вертящийся алый табурет, распахнула створку кухонного навесного комодика, подтянула второе колено, недырявое, и, уже катясь на табурете по часовой стрелке, потянулась обеими руками на верхнюю полку, судорожно добираясь до жестяного ящичка с выпуклыми синими ирисами на плотных стеблях, позволяя своим птичкам на лбу то страдальчески вспархивать, то снова складывать крылышки. Табурет покатился в обратную сторону. Сверху на Катарину посыпались пакетики с чем-то интересным и душистым.

Марга с верхнего этажа протрубила хрипловатым контральто, что ванна готова.

А снизу, приятно наступая на миккимаусов, стеснительно подвалил к Елене, накренясь, и делая вид, что падает, напирая на нее боком, отчаянно улыбаясь во весь рот и прося внимания, компактный носитель фиолетового языка – хозяйский чау-чау Бэнни, который только что отужинал зеленоватым хрустким губчатым гравием из плошки на высоком штативе (для осанки) и омочил усы в растущем на том же дереве пластиковом водоеме, оставив там плавать крошки.

Заворачивая штруделем ухо Бэнни, который наклонялся все ниже и ниже вслед за ее рукой, намекая, что ухо можно было бы и почесать – Елена на секунду отвлеклась от Катарининых манипуляций и старалась сфокусироваться исключительно на чесании оранжевого чау – присела и, ни секунды не сомневаясь, заговорила по-русски (довольно, впрочем, рвано) с этим, уже единственным, физическим существом, казавшимся ей в эту минуту абсолютно неопровержимо реальным, и слыша откуда-то из параллельной невесомости сбоку, метрономом, позвякивание ложечки, размешивавшее жаркое дыхание в лицо с запахом комбикорма и лиловую улыбку с фряканьем Бэнни.

Отвлеклась – и упустила какой-то фокус. Потому что, теперь, когда она выпрямилась, перед ней стояла Катарина и протягивала ей уже стакан абсолютно прозрачной воды. С гигантски-длинной чайной ложкой.

– А где аспирин? – с чисто артистическим интересом переспросила Елена, предчувствуя какой-то веселый финт.

Катарина, улыбаясь каждым миллиметром лица, покивала согнутым указательным ключом внутрь стакана.

Елена не поверила и попросила еще раз повторить при ней фокус.

Катарина с гостеприимной радостью трюк повторила: вытащила из ирисовой жестянки зеленый пакетик, надорвала зубами, извлекла плоскую, как будто кто-то наступил каблуком и расплющил, обычную таблетину, белую шайбу размером с советский пятак, и...

В ту же секунду, как шайба коснулась воды, произведя феерический эффект, Елена, которая еще минуту назад отнекивалась, что, спасибо, она не хочет сейчас звонить матери, что из-за разницы во времени мать, сейчас, возможно, уже спит – тут, без единого слова, неприлично отодвинув с дороги Катарину и кренившегося на нее уже под пизанским углом Бэнни, рванула к телефону на лестницу, и набрав сначала сдуру, как в Москве, «198» – тут же нажала рычаг и набрала волшебный, никогда раньше не надеванный, международный код своего московского номера, и, вместо отчета о том, как доехала, выпалила:

– Мама! Мы никогда не знали потрясающей вещи! Ты где? На кухне? Достань скорее аспирин и кинь его в воду! Потом объясню! Сейчас сама увидишь!

И нетерпеливо ждала, слыша на том конце знакомый, который бы узнала, звони она даже из другой галактики, деревянный звук доставаемого, с самого верха, с голубого серванта на кухне, шуршащей пестрой жатой бумажкой обклеенного ящичка с крышечкой – с медикаментами – потом кряцающее, шероховатое причитание – это Анастасия Савельевна выдавила большим пальцем аспирин из бумажки. Потом – удивленная фарфоровая струйка из старого Глафиринового графина.

– Ну?! Ну что? – встрясила Елена из трубки визуальные подробности. – То есть – как не получается?! Ну взболтай попробуй! Ну раздави ее ложкой! Ну помешай!

– Да что ты, Ленка, выдумываешь! – уже похохатывала Анастасия Савельевна, считавшая, что дочь ее разыгрывает, но все-таки послушно пытаясь воскресить к жизни, прищучивая ложкой, унылую склизкую таблетку, так и оставшуюся мутным камнем лежать на дне.

Катарина, не понимая ни зги, стояла и ждала ее рядом на лестнице со страшной вероятностью на остреньком личике: держа уже давно не шипевший стакан в одной скелетообразной руке, и забавный маленьким термометр с плоским штырьком с дисплеем – в другой. Ничуть не обидевшийся улыбчивый Бэнни, громко фыркая, ждал на подтанцовке.

Хлебанув кислое зелье залпом, запив таким образом конец разговора с Анастасией Савельевой, Елена, дразнясь, прихватила на секундочку самый кончик мокрого языка Бэнни. Пес, дико изумленный таким амикошонством, даже на секундочку язык прибрал. А Елена, отбиваясь от градусника, – который Катарина, живописуя коварство баварского гриппа, пыталась ее уговорить засунуть за щеку, – побежала к себе наверх в спальню, лингвистическими загадками на бегу пытаясь отвлечь внимание добровольной медсестры:

– Знаешь, Катарина, кстати, как будет «аспирин» на зулусском?

А завернув в ванную комнату, не выдержав, вдруг невежливо расхохоталась в дверях, слегка, кажется, обидев отставшую на лестнице, и не понявшую в чем прикол, Катарину: в ванну кто-то как будто кинул разом слишком много аспириновых таблеток перманентного действия. Пена выкипала через край.

Как будто кто-то все время проверял ее самочувствие. Справлялся, замерял, и остроумно выстраивал под нее антураж, климат, и даже ванну. Чтобы не отпугнуть.

Теперь каждый день купание утром и вечером было синоптически выверено – и, подмигивая термостату, она отправлялась в плавание.

Лежа в ванной под слоем пены, она слушала через маленькое круглое (выкликавшее из памяти как нельзя более подходящий к нему сейчас буквальный ярлычок «слуховое») окно, как в саду упоительные южные голуби не глюкали, а ухукали:

– Ого! Ты что-о тут? Ого!

«Южными» этих голубей окрестила, собственно, Анастасия Савельевна, потому что лично ей они встречались только «на юге» – в Кераимиде, у самого Черного моря, городке, где Анастасия Савельевна родилась. Елене, которую Анастасия Савельевна привозила в Кераимид, впервые, пяти, что ли, лет от роду, город показался заманчивым прежде всего тем, что там, в крымском угаре, под аккомпанемент этих особых, ухукающих голубей, прямо на улицах раскидывалась (в самом прямом, причем, смысле этого слова – разбрасывалась) шелковица – долговязая кузина ежевики.

Фиолетово-чернильные кляксы на асфальте, оставляемые перезревшими ягодами шелковицы, расшвыриваемыми деревьями прямо под ноги, Елена поначалу приписывала как раз этим таинственным, неуловимым (но вероятно все-таки каким-то образом какающим) южным голубям, которых ей почему-то все никак не удавалось рассмотреть: они мастерски прятались в тутовой гуще, так что всегда можно было увидеть тяжесть их тела – по просевшей ветке, но никогда их самих. Анастасия Савельевна их описывала тоже как-то туманно, и по всем приметам в фантазии Елены вырисовывались все те же самые уличные московские голуби, только толстенькие, чистенькие, редкие и пугливые, кушающие в основном семена трав, ну и иногда шелковицу, когда созреет – короче говоря, какие-то доисторические рафинированные предки тех, которые теперь живут в городах и дерутся за пищу, как беспризорники.

Не без Анастасии-Савельевниных наводок и кокорок был освоен финт с залезанием на ближайшие занозистые заборы; и открыт небольшой семейный конвейер по передаче вниз матери, ждавшей на шухере, готовых лопнуть (не сжимай только! Ну вот, опять, и прям мне на белую кофту! Всё, хватит, слезай сейчас же!) живых душистых пупырчатых бомбочек со сладкими чернилами. Но как-то все же не вязалось в воображении, какие же такие шелка умудряются из этой вязкой жижи напрясть прожорливые гусеницы, упоминаемые, практически наравне с прочими штатными советскими работниками, по телевизору, в докладах генсека-маразматика («туто-во-во-во-гого шелко...»), самого себе присуждавшего, за заслуги оных, видать, гусениц, звезды героя.

Когда пятилетнюю налетчицу подельница-мать спускала с забора, и банда начинала делить добычу, разложенную горкой на бумаге, ягоды, аккуратно вытаскиваемые, чтоб не рухнула вся конструкция, и отправляемые, сперва, в рот по одной, сразу выделявали с внутренней стороны ногтей большого, указательного и среднего пальцев интересную очень-очень темно фиолетовую инкрустацию, а уже через пару минут, по мере проявления и закрепления краски, – когда шелковичная гора уже без эстетства, с мурчанием, напропалую варварски загребалась в рот, – маникюр на руках становился неотличим от рвотно грязных ногтей приморских мальчишек, – торговавших под соседним забором пережаренными подсолнечными семечками (с такими кристаллами солончаков на них, как будто готовились для муфлонов, а не для людей), в грязно свинцовых кулках, навораченных на все тех же пальцах из позапрошлогодней газеты «Правда», – и самих же из этих кулков лущающих, покель не подвалил покупатель – как наркодилеры, дерущие бесплатную начку с каждой дозы проданного товара. Отчего мостовые даже в центре Кераимида всегда напоминали ленту заводика по массовому горячему отжиму подсолнухов.

Малолетки, выкрикивающие повсюду в темноте с перечислительной интонацией: «Сэмюшки, сэмюшки, сэмюшки!» – тем же звуком одновременно сплевывая анонсированный товар через губу на асфальт, были до того черны, что, казалось, присыпаны вулканическим

пеплом. Между их шрамами, содранными коростами, чесоточными волдырями от нападений крупнорогатых летучих крымских насекомых – на локтях, коленях, запястьях, лбах, щеках, бровях – и остальными семьюдесятью процентами загорелой суши тела, был такой же цветовой и колористический зазор, как между изредка попадавшимися незрелыми, телесно-розовыми крупинками шелковицы – и всем ее остальным, сугубо чёрно-морским, окрасом. Мать, впрочем, сильно подозревала, что многолетние слои загара мальчишек усугублены многолетней же их немытостью. Если не считать регулярных соленых морских процедур, которые только дубили кожу, и при высыхании, соль, прижжённая солнцем, превращала грязь мальчишек в подобие вечной татуировки. Мальчишки смешно, через грязную губу, говорили: «Малёнько!»

В один из позднейших приездов в Кераимид зашли в гости к то ли троюродным, то ли четвероюродным Анастасии-Савельевным родным – те, на радостях, изобрели нечеловеческую изощреннейшую пытку: решили подарить москвичам каркас мертвого краба, на долгую добрую память; зверя сначала купили у тех же мальчишек, на черном рынке, сварили его (к счастью, момент убийства Елене не афишировался. Или, скорее, к несчастью – потому что всегда ведь есть шанс устроить приговоренному побег), и закопали его в землю – здесь же, не отходя от кассы, перед домом, в палисадничке, слева перед входом в подъезд, под вечно открытыми окнами чьей-то и без того вонючей кухни.

И каждый день (на беду, радушные родственники жили как раз на пути к морю) Елена с внутренним содроганием и стоном, стесняясь сказать матери причину, выдумывала разнообразнейшие капризы («давай сходим туда, где вчера продавали сахарную вату», или «за семечками»), чтобы только за версту обойти этот злосчастный дом, и этот подъезд, превратившись в надгробную плиту на могиле краба – и все равно, вне зависимости от дистанции, зримо, живо представляя себе, как плоть бедного красавца в наивных старомодных дон-кихотовских червленых латах, не защитивших его от людей, пожирают под землей богомерзкие твари – и лютой ненавистью ненавидела бесчувственных южан.

К счастью, в день отъезда о крабе все забыли. А единственное существо, носившее этого захороненного краба огненным иероглифом в памяти, не только не стало о нем напоминать, но только и молилось о продлении сеанса массового склероза.

Так что его бронированный хитон вероятно так где-то там и гнил до сих пор, под замызганным газоном перед многоквартирным домом, где упорно ничего не росло – как катком прокатали – кроме крапивы, окурков, разрозненных уродливых сорняков да треногих гнилых вышвырнутых детских стульчиков под окном первого этажа, которые чернолицые старушонки с усохшими задами охотно использовали для посиделок с лузганием семяк, умея навешивать, по мере сгрызания начки, на нижнюю губу целый сталактит из слюнявых шкурок, как скрепки, соревнуясь, кому дольше не придется сплевывать.

Подходы же к морю по бульвару в Кераимиде запомнились Елене веселой игрой в классики: хотя под конец она уже и перестала путать на мостовой голубой голубиный помёт с черно-лиловой шелковичной кляксой падалицы, но на всякий случай, старалась не наступать ни на то, ни на другое – и скакала между метками, то на левой, то на правой, в фиолетовых сандалях с четырьмя вентиляционными дырочками ромбом на мыске, вздымая с обочин прыжками ворох подсолнечного жмыха.

И только сейчас Елена впервые пронзительно ясно почувствовала, что Кераимид, Гаспра, Ай-Петри – все эти драгоценные названия с крымской огранкой произносились Анастасией Савельевной не как ярлычки реальных пыльных мест с мреющими кипарисами и потными парнокопытными туристами, а как заклинания, способные в ту же секунду телепортировать в благоуханную крымскую ночь, где Анастасия Савельевна шестнадцатилетней школьницей спала ночами в горах в гамаке под чернеющей, пуще неба, черешней, на даче, снятой на лето у друзей за бесценнок Глафирой, и сквозь дырки гамака то и дело насквозь пролетали жирные сверкающие звезды, под утро оказывавшиеся черешневыми ягодами – и куда ярким августов-

ским днем Анастасия Савельевна, после тряской, мазутом пахшей поездки на катере, как-то раз повела взрослую уже, тринадцатилетнюю, Елену за руку на гору, за верхнюю Гаспру, вдаль от уродливых министерских санаториев, желая показать «ту самую» дачу.

Снизу, с катера, никаких примет жизни вверх, на горе – там, куда (пока еще не причалили) все тыкала вытянутой рукой Анастасия Савельевна – ну вот честное слово, было не видно:

– Смотри, смотри, вон там!

– Где, где? Я не вижу! Ну покажи еще раз! Маааа...

– Ну вон там же! Смотри же скорей!

Дорога была изнурительной: каменистой и извилистой; а главное, Елена, да и сама Анастасия Савельевна, похоже, тоже, минут через пятнадцать после начала медленного, жаркого подъема, уже перестали верить в существование какой-либо дачи там, наверху, в конце этой белой, созданной словно специально, чтобы ломать ноги, тропинки, все время неприлично вилившейся по утесам между непролазными назойливыми зарослями с обеих сторон, и усыпанной подло стрелявшими из-под подошв, как партизаны, камушками. Ужасно хотелось пить, Елена начала капризничать. И когда за очередным изгибом слева от дорожки Анастасия Савельевна заметила инжировое дерево, то сразу предложила ей залезть к дереву через кусты и попытаться добраться до плодов – синеньких, как будто заиндевевших, будто тальком припудренных кулёчков, на поверхности которых, казалось, легко можно оставить отпечаток пальца – и которые не имели ровно ничего общего с приторными ссохшимися коричневыми уродцами, считавшимися лучшим средством от простуды, которые приходилось с трудом разжевывать с горячим молоком московскими зимами; Елена уже внизу, возле пристани, положила на них глаз: свежие фиги были разложены у лоточницы на перевернутом фанерном ящике из-под пива, но только было Анастасия Савельевна хотела для нее купить парочку, как в отдалении замаячил милиционер, и бабка-торговка в панике подхватила нежный товар в масле перепачканный подол и унесла ноги.

С азартом, и тут же забыв про капризы, Елена ломанулась в заросли, однако ровно через секунду выскочила оттуда с визгом: «Ой, змея!» – потому что нечто невидимое и увесистое недвусмысленно прошуршало по дереву в ее сторону – и Елена, с казавшейся ей потом самой удивительной спринтерской прыгучестью, сиганула от кустов вверх по тропинке к Анастасии Савельевне одним гаком метра на три, без всякого шеста.

Но змея дружелюбно сказала ей вслед «Ммммеее!» и обернулась чистенькой белой козой, отвязавшейся от колышка и тоже зашедшей полакомиться инжиром; коза тут же на всякий случай вылезла из-под кустов, демонстрируя свою криво ухмыляющуюся жующую бородастую физиономию, чтобы окончательно развеять недоразумения насчет собственной личности.

А потом был чай, неожиданно желанный при такой жаре, за круглым столом в саду под той самой черешней – хозяева домика, заметив женщину с девочкой, глазевших через забор на покосившийся давно не крашенный бурый дощатый дом с верандой («Слушай, не могу понять – тот или не тот?»), приветливо спросили, чем они могут быть полезны, а услышав Анастасии-Савельевнины охи да ахи, да имена прежних владельцев дома, пригласили зайти и пополдничать – и были теруны из картошки, приправленные густой самодельной сметаной из стеклянной банки, в которой «стояла» ложка; и творожные ленивые вареники с черешней; и хозяйка с хозяином, удивительно одинаково пухленькие, удивительно одинаково складывающие руки на животах, с удивительно одинаковыми картофельными носами (только у него все это венчалось нимбической лысиной, а у нее – седеньким пучком), с одинаковыми лучистыми тихими улыбками говорящие: «Да-а-а... Ну да что теперь поделаешь – надо жить дальше» – после рассказа о том, как его, подающего недюжинные надежды ученого-биолога, травили на работе в Питере, и был выбор – либо-либо... И он оказался в тюрьме. Она – играла в театре, но... «Короче, что теперь поделаешь – надо жить дальше. Вот, чудом, после того как он вышел,

через далеких стареньких родственников удалось устроить родственный обмен и переехать сюда. Работал ветеринаром, а теперь уж на пенсии. Ну ничего, как-то же надо дальше жить!»

Засиделись до ночи, и хозяева уломали их остаться переночевать («Да что вы? Как же вы теперь пойдете-то?»), постелили на раскладушках, на открытой веранде, но ни Анастасия Савельевна, ни сама Елена, так и не прилегли до самого рассвета; и, хотя не было холодно, накинув на себя для порядку поверх одежды простыни – «от комаров», как замороженные все смотрели вдаль из-под «того самого» дерева в саду, откуда открывался вид на парчовое море, и корабли, казавшиеся крохотными бисеринками и блестками в море, сорванными и унесенными туда ветром с карусели или иллюминации на набережной; и казалось, глядят они вниз в подзорную трубу с обратного, широкого конца, и не верилось глазам – как это все предметы, которые еще днем внизу казались гигантскими, теперь специально искусственно уменьшились, чтобы разом поместиться во взгляд. А когда зажмуришься на секунду – и резко разожмешь глаза – море, становилось темным зеркалом звездного неба, залитым в нижнем полукруге того же телескопа, а звезды – наоборот – как будто бы увеличены гигантской, надвинутой специально для них, линзой. И часа в два ночи – глядь – с неба, со звезд стащили защитный купол, сдернули на одну ночь – и теперь звезды не лежали больше, как обычно, далеко, под музейным стеклом, а парили и жили в свободном, вольном доступе – рядом! – вот они! – кончиками пальцев можно дотронуться! И Анастасия Савельевна, задрав голову вверх, наконец, окончательно признала по звездам место, и боялась шевельнуться, и только приговаривала: «Ах, Ленка... Я вот здесь же вот тогда...»

На рассвете, дрожа от недосыпу, спустились уже другой, менее петляющей, но более длинной, тропинкой, подсказанной хозяевами дома. Дивясь тому, как перевернутая ночью умозрительная подзорная труба медленно, но неумолимо проворачивается обратной стороной: так что через полчаса быстрого спуска толстые теплоходы и самоуверенные катерки на солярке опять отвоевали свой увесистый архимедов размер, и опять было уже трудно поверить в существование наверху дачи в черешневых ветвях и гостеприимных... имен-отчеств их Елена теперь уже вытребовать из памяти, увы, никак не могла.

Сейчас, когда своим удивленным, но вполне расслабленным, квохчущим «Охо! Ты что тут?! Охо!» южные голуби буквально из воздуха, как бы случайно, соткали заново в ее памяти и Крым, и, продолжая небесное кружево, притянули к крымской ткани на тонкой невидимой воздушной ниточке эту гипнотизирующую зеркальную ночь в Гаспре, это очень черное море, и опрокинутое на них с Анастасией Савельевной небо, в котором сияло стотысячье глаз, и на которое было поначалу даже жутко смотреть, потому что звезды оказались теплыми, близкими, живыми, моргающими, отвечающими на твои вопросы, отражающими взгляд, перемигивающимися с тобой – Елена, невольно вздрогнув, подумала о том, что подсмотрела там, давно, вверху, на горе, в Гаспре, вместе с матерью, именно ту, ту самую застывшую, предельную, последнюю картинку, тот самый стоп-кадр, что унесли на сетчатке глаз в память о гибнущей родине тысячи русских семей, уплывавшие на кораблях в Турцию и Грецию (как будто наивно надеясь, что архаические, мифические, только в вечности уже существующие хризостомский Царьград и элладийские первоапостольские Острова вновь подставят дырявые ладони тем, кому они когда-то передали эстафету веры, а вместе с верой, как прикладной дар, и величайшую культуру, которые после переворота семнадцатого, по списку, в такой же последовательности, убивались), и оттуда растерянно рассеивавшиеся, по занудным и ненужным государствам, драгоценным золотым песком (у мира сквозь невежественные, не ценящие этих богатств пальцы), спасавшиеся бегством после переворота и трех нескладных лет попыток противостоять головорезам, когда власть в стране была захвачена кучкой аморальных бандитов, причем захвачена настолько нагло, нелепо и незаконно – что, как каждому из бежавших, судя по уцелевшим воспоминаниям, тогда казалось – ненадолго, – а вот уже длилось и длилось это проклятье до сих пор, почти вечность: почти век.

Лежа в ванной, и, то погружаясь с головой в розовую пену с запахом бабл-гама, то разглядывая мультяшную бутылочку из-под детской пенки на краю ванны, убедительно гарантировавшую, что слёз больше не будет, и слушая, слушая, слушая ухукающих южных голубей под окном, Елена вновь и вновь спрашивала себя: а что, если бы это она жила тогда, в начале прошлого века – если бы в тысяча девятьсот семнадцатом, в двадцатом, она была бы уже взрослой, и если бы это был ее выбор – с кем бы она была? – с теми, кто уехал, унося в сердце не существующую больше в физическом измерении Россию – или с теми, кто предпочел жить любой ценой на привычной территории, быстро превращенной в один сплошной громадный концлагерь, а следовательно, – либо сражаться против бесовской сволочи и погибнуть, либо волея-неволей день ото дня мутировать под вурдалачьи порядки? И заново чувствовала, осязала, видела ту ночь в Гаспре и вдыхала ее ароматы, которых не в силах была перебить никакая бабл-гамовая парфюмированная отдушка, никакая из окружающих заграничных декораций; и опять сжималось сердце, потому что фантазия, дорисовав постфактум все внутренние пунктирные линии, свела вдруг всё воспоминание в единую вспышку, подсказывала ей, что, сами того не желая, они с матерью простояли в ту ночь в Гаспре, как две поминальные свечи, замороженно застыв в зазеркальном отражении прощального взгляда перестававшего существовать, такого близкого, всем естеством чувствуемого племени (от которого остались теперь только слова и дома), не сдавшегося, но оставлявшего родные берега навсегда; вернее даже (и это жутковато было ощущать), в каком-то универсальном, надвременном измерении, на какую-то секунду они с Анастасией Савельевной стали тем, *что* заключил в себя взгляд тех мифологических, родных беглецов (святых, грешных, амбициозных, щедрых, пропойц, праведников, гордецов, женолюбов, девственников, транжиров, анахоретов, обжор, постников, затворников, скандалистов, молитвенников, юродивых, гениев, монахов, философов – всяких, щедрой поварешкой заваренных – но, без малейшего сомнения – живых, живых людей, человек, – в противовес наступающей озверевшей, беснующейся, ликующей нелюди) – взгляд, разнесённый в Вечности, навсегда отпечатавшийся там, в Крыму, на небе и море; в той последней точке, которую те тысячи русских глаз видели с кормы кораблей, уходивших из Крыма – из этого буфера, где до запредельной невозможности цеплялась жизнь, нормальная человеческая жизнь, где пыталась задержаться душа, вытесняемая нечистью из тела России – и, по страшному символизму, душа вытекала, бежала именно из той морской горловины, через которую когда-то влилась христианская вера; крайняя точка, клочок земли, прощальный абрис гор, где была окончательно похоронена надежда на выживание родины – которая вскоре вся без остатка была выпотрошена и уничтожена одержимыми, тупыми, малообразованными, остервенелыми, озабоченными, всю жизнь в плоть (причем, мертвую) превратить пытающимися, бездушными маньяками-богоборцами, в своем богоборчестве захлеб спешивших убить заодно и как можно больше существ, созданных по Божию образу и подобию.

Мать, впрочем, прежде, до самой Горбачевской «перестройки», ни о какой политике никогда не говорила, и, кажется, даже и не думала. Всю жизнь прожившая в Москве, и успевшая в Кераимиде только родиться (предусмотрительно выговорив себе право появиться на свет на брезгливую квинту дней раньше начала второй мировой – чтобы авансом не портить дня рождения), а после приезжавшая в Крым только искупаться, Анастасия Савельевна любила, однако, сидя дома, в Москве, на жаркой трехметровой кухне (с безнадежно засаленной советской вытяжкой, только ухудшавшей чад), порассуждать о том, что у нее врожденная ностальгия по морю, и, подражая утёсовскому баритону, с пробивающими на слезу дрожащими гласными, напевала: «У чё-о-о-о-рна-га...» – заводя правой кистью штормовую волну на самый верх и вдруг разом обрывая ее с утеса: «Мммора!», и тут же всей рукой показывая, как шквал обрушивается обратно в море и превращается в пену.

И странным образом этот музыкальный жест всегда вызывал в памяти человека, мальчика, которого Елена никогда не видела живым, но который с самого детства был для нее

как будто рядом. Лёня, троюродный старший брат Анастасии Савельевны, живший в Кераимиде, загорелый, с неизменной широченной улыбкой, которого Елена узнавала на фотографиях рядом с матерью: то семнадцатилетним, смеющимся и брызгающимся, в лодке, на вёслах (там Анастасия Савельевна еще совсем маленькая, худенькая, так и не успевшая отъестся после войны за голодное детство, девочка с косичками, закрепленными шелковыми лентами крест-накрест – в модные в то время «баранки»), то двадцатилетним, смеющимся, широкоплечим, жизнерадостным атлантом, помогающим Анастасии Савельевне, приехавшей к нему в гости на летние каникулы (уже повзрослевшей красавице, казавшейся сестрой-близняшкой Джинны Лоллобриджи, с длинными смоляными вьющимися волосами, и все с такой же нереально худой талией) взбираться на какой-то скользкий осколок скалы в море. То... – впрочем, вскоре курортные фотографии оборвались. Вечно двадцатичетырехлетним Лёня стал в Кераимиде в начале 60-х. После конфликта с парткомом завода, на котором после института работал мастером цеха, Лёня внезапно упал с высотного крана. Пятеро человек из органов в день его гибели провели у него дома обыск, и изъяли и арестовали все его дневники (вот уж единственное, из этого жанра, за возможность прочесть которое дорого можно было бы заплатить!), ведшиеся им ежедневно и запираемые в ящике письменного стола. И по необъявленным причинам родным никогда так и не позволили увидеть его записей. Семье внушали, что это самоубийство. А в доказательство предъявили только его советский паспорт, титульный лист которого он, незадолго до гибели, перечеркнул крест-накрест шариковой ручкой и аккуратно надписал своим круглым детским почерком: «Будь проклят тот день, когда я получил этот документ». С какой-то убийственной иезуитской иронией органы убеждали родных, что погибший был душевно больным, и что главный признак болезни – его повышенная брезгливость: а именно то, что он брезговал есть из плохо вымытой посуды в общественных столовых.

По досадной оплошности, на теле «самоубийцы» (труп – в отличие от дневников, изъять и уничтожить не успели) были ярко и внятно записаны следы борьбы, синяки, и, как постскрипtum, израненные пальцы и разодранные стигматы на запястьях и под локтями, свидетельствовавшие, что, когда его уже скидывали вниз, он отчаянно пытался зацепиться за перемычки крана. Ага. Брезгливость к миру. И из брезгливости к миру записывал что-то брезгливое в дневнике про особо гнилых торжествующих червяков мира сего.

А через месяц после того, как расследование было закрыто, к родным подошел на улице робкий человек с тиком, и тихо, но четко выговорил смертельную шараду:

– Я видел: на кран поднимались двое – а после спустился один.

В Крыму южные голуби томно говорили: «Ку-ку-у... – шка!»

А здешние, баварские – завидев валившее из окна ее ванной варево пара, все повторяли с чуть сонным изумлением:

– Ого?! Ты что тут? Ого!

Извернувшись вверх тормашками, все еще полоща волосы, и паря в пене, она увидела запотевшее окно вниз головой – круглое окно от этого, впрочем, не сильно пострадало – и опять крепко приладила к нему книжное прилагательное, которое раньше в жизни не к чему было приложить – «слуховое», – а уже через пять мокрых скользких шагов – «смотровое».

Увидеть самих голубей отсюда было невозможно. Видно было только, как тяжело качались под их тельцами лапы развесистого молодого горизонтального кипариса – вон там, под облаком застрявшего ванного пара, на уровне кипарисовых плеч; пар кружился и играл; кипарис, как в сильно замедленной съемке, крайне лениво, но все же с цирковой ловкостью (ничего не падало!), крутил на хвое туманный хула-хуп.

Кто-то невидимый из сада опять пробормотал «уху...» – и заснул на полслове.

Она откатила побольше иллюминатор, подтянулась на мокрых мысках (большие пальцы ног уже через несколько секунд перестали существовать как часть тела, превратились как будто в костяные пуанты), и гусяная кожа побежала пупырышками по рукам, как будто следуя силе

притяжения окна и подтягиваясь к нему со всей силой вслед за ее же носом; высунула в нижнюю оконную дольку левую руку, по локоть, и щеку – чувствуя, как быстро холодает снаружи сразу же после заката солнца – и как будто окунулась в холодную ванну. В сад на дорожки с верхушек деревьев пар сползал очень медленно, как будто действительно зацепился за их ветки – сближался, но не смешивался с поднимавшимся снизу от земли туманом. А чуть поодаль, справа, густо выведенный молочными чернилами по синьке воздуха, висел буквой эс-цэт дымок еще и третьего рода – Марга, хозяйка дома, прячась от дочери, присев на корточки, сладко курила у задней низенькой калитки, обсаженной кизильником.

Елена провела пальцем по облупившейся скорлупе белой рамы с крупными каплями испарины, внятно притронулась всей ладонью в самом центре к запотевшему стеклянному кругляку, даря иллюминатору свою дактилоскопию, и бултыхалась обратно в ванну – думая о том, что вытеснила сейчас, наверное, столько же воды на пол, сколько и упитанные голуби – воздуха из-под кипарисовой подмышки при резком под нее приземлении. И, что голуби в дымке сейчас, наверное, так же себя чувствуют, как и она в этой пене. И, что – духовое, конечно же! – окно же все-таки называется духовое, а не слуховое. И – вообще, чувствуют ли они сейчас в саду этот смешной запах бабл-гама?

Конструируя фрезу из пены за шеей, смешно лопавшуюся у самых ушей с пенопластовым шелестом и, неизменно (как только произведение пенного искусства достигало масштабов медичевского стоячего воротника), отваливавшуюся сзади через край ванны на пол; удивляясь в самых неожиданных меридианах всплывающим на другом полюсе океана большим пальцам ног – перископам, за которыми вслед целиком выныривали субмарины ступней, и в ту же секунду обращались произведением скорее стиля модерн-арт, в сияющих радужных пузырьковых черевичках; а потом, погружая гипертрофированные инфузории-туфельки обратно в пучину и случайно зацепившись за хромированную цепочку от ванны большим пальцем этой пузырьковой туфельки, выдергивая цепь как леску с грузилом из пруда; а почувствовав водоворот, спешно прилаживая пробку пяткой обратно, отчего разинувшая было пасть на добычу силурийская прорва сточной трубы затыкалась, но с полминуты еще недовольно гургукала; набирая побольше пены в поднятые руки и пытаясь сжать горячий снежок между ладоней, и чувствуя удивительно приятный факт: в руках как бы ничего нет – одни пузыри – а как бы и упругая пена не дает похлопать в ладоши; а потом поворачивая к себе пятерни и, будто впервые, рассматривая ставшие от горячей воды новорожденными, стянутыми, сморщенными, подушечки пальцев; и опять погружаясь с головой в пену (слез действительно не было, не обманули) – она заново покадрово просматривала в звучно трескающихся пузырьках купюры – как будто крутя перед глазами на пальцах пенную киноленту – кадры, вырезанные загадочным внутренним цензором и из какой-то странной, собственнической, жадности не предъявленные Крутакову.

Вот она на Хауптбанхофе плюхнулась, вместе с Дьюрькой, на мягкие сиденья в вагоне Эс-Баана (думая о том, что в аббревиатурах «Ууу-Баан» и «Эс-Баан» явно слышится что-то готическое – прям-таки парочка типа Брюнгильды и Кремхильды).

Через проход от них, на одну секцию вперед, пожилая монахиня, щеголяя нарядным черным шапероном со сливочной подливкой, сидела, скрестив ноги в туфлях на умеренно высоких квадратных каблуках (видимо, прописанных от плоскостопия) и с аппетитом уминала крендель с солью. Напротив – белокурая женщина, от которой, собственно, в основном только и разглядеть можно было, что волосы (лицо было густо завешено распавшимися из заколки-автомата кудрями), спала на локте, положенном вместо подушки на ручку коляски, где в центре несоразмерно пышного оклада пелерин виднелось совсем маленькое, тоже спящее, круглое розовое только что сделанное личико.

Позади них порывисто приземлился мужиковато-бородатый Хэrr Кеекс, а рядышком, нервно озираясь, – Анна Павловна, решившаяся сесть бок о бок с коллегой – из опасений новых

атак Чернецова: тот попытался было, при заходе в вагон, цапнуть ее под руку, но получив отлуп, побежал пробовать, можно ли частым-частым-частым нажатием серебристой ручки вскрыть переднюю дверцу с кофейным стеклом, чтобы перейти к машинисту.

Лаугард присела напротив учителей, и, чисто в интересах языкознания, строила глазки Хэрру Кеексу – без всякого результата, поскольку маятниковые ошалевшие глаза последнего вообще было поймать невозможно.

Воздвиженский, войдя и брезгливо осмотрев весь вагон, долго, как будто выбирая место получше, торчал возле дверей, и в результате подошел и грубо буркнул:

– Дьюрька, подвинь же свои ноги! Дай пройти! – переступил через вытянутые Дьюрькины колени. И сел у окна напротив Елены.

Кресла – голубые, с мягкой обивкой в черный квадратик, – родные братья (хотя и младшие) тех волшебных, плюшевых, из поезда дальнего следования Берлин – Мюнхен, – вновь вызвали у посланцев страны дерматина поголовную ажиотацию.

Как только электричка тронулась, всех как стряхнуло с мест – побежали по всему вагону, присматриваясь, принюхиваясь, зависая на каждой багажной полочке, трогая, всё что можно было потрогать, а всё что нельзя – облизывая, приставляя ладони, сплюснутые носы и надутые пасти уа-уа к ко всем имеющимся оконным плоскостям, так что если бы предположить, что кто-то летел за вагоном и видел картину снаружи, сюжет, наверное, напоминал разгулявшуюся по аквариуму банду сомов-присосок.

Анна Павловна, страдальчески наморщив носик, делала вид, что разгула дикарей не замечает, и старалась, с натужной улыбкой, кося взглядом на прорывавшегося к машинисту Чернецова, отвлечь живой коллегиальной беседой внимание Хэрра Кеекса.

– Да. Да. Безусловно... – неизменно отвечивал на все без разбора реплики Хэрр Кеекс, сосредоточенно поскрябывающий правой лаптей в левой щетине и ошалело водящий по вагону глазами вслед за русскоязычными метеоритами.

Монахиня, к которой уже направлялся было, разочарованный наглухо запертой дверью машиниста, Чернецов, беззаботно и счастливо соскочила на следующей остановке, чеканя вприпрыжку платформу и пряча в карман туники недоеденный полумесяц прэтцэля.

Проснувшаяся от гомона белокурая девушка, потирая припухшее, тисненное вельветовым локтем лицо, подобрала из-под коляски, с полу, отстрельнувшую заколку и пыталась сжать волосы в сноп на маковке. Подсевший мимоходом Чернецов корчил коляске рожи, красноречиво предлагая девице помочь с воспитанием ребенка.

Тем временем у Елены все явственней ныло в солнечном сплетении: за окном вяло побрели, спотыкаясь друг о друга, разнокалиберные бетонные дома, наводившие своими эстетическими качествами на мысль, что редкий архитектурный дар посетил в свое время не только незаконнорожденного сына кукурузы, товарища Хрущёва. Редкий, редчайший талант угаживать визуальное пространство явно был международным. И чем дальше они уезжали от центрального вокзала на запад, тем больше ёкало под ложечкой: техногенные компактные уродцы, лицемерно раскрашенные в веселенькие школярские гаммы, разнокалиберные коробки – кубы и параллелепипеды. Дважды проехали ту же самую рекламу баварских доноров, фарисейски обещавшую: «Wer Blut spendet, kommt in den Himmel!», и трижды – гигантскую рекламу банка, сулившего кредит на домашний уют за пять минут: «Только позвоните прямо сейчас!»

Откровенно уродливые, много ли – мало ли – этажные, еле ползшие вслед, хрущёбы; и высокие, перевернутые на попа, офисы, пучеглазо метавшиеся за поездом.

Рекламы кончились – но эстафету их было кому перенять. На изнанке железнодорожного здания-сорняка красовались граффити – псилоцибиново яркие исчадия пубертатного самовыражения.

– Надо же. Ты представь, Дьюрька: какой то прыщавый кретин потратил не один час, малюя – специально, зная, что этот его продукт пищеварения будут обязаны потреблять проезжающие зрители электричек...

– Имей совесть. В Москве бы такой домик уже давно бы плакатом «кпсс – гарант мира» завесили! Ты радуйся! Свобода! – урезонивал ее Дьюрька, тоже, как замороженный, перегибаясь через нее, глазающий в окно, то и дело заезжающий в нее, зазевавшись, своим круглявым плечом.

– Ну, что ж: в конце концов, на здании барокко никому не пришло бы в голову нагадить... – с ухудшающимся коловратом в поддыхе и с ненавистью к собственным словам выдавила из себя Елена. – А здесь – это единственное украшение...

Из всех проведенных мимо вереницей зданий красивого не нашлось ни одного.

Из следующего свального месива граффити она краем глаза выхватила четырехметровый, черный, отвратительно паучьего вида с наростами кровавой готики вокруг, кубический иероглиф «DM».

Дьюрька важно предположил, что это «сокращение от Deutsche Mark», – и приписал это проявлению крайнего монетаризма местных подростков.

Под ложечкой крутило все больше. Сидела Елена уже как приклеенная лбом к окну, наблюдая за чудовищными тенденциями, не понятно куда ведшими.

Пахучего румяного свежеепеченного города, от которого в носу и на сетчатке еще остался спасен выданный в вокзальной спешке впопыхах аванс, – уже и след простыл.

Желтушные трубы да убогие железнодорожные подсобки.

От немедленной расправы над варварами-учителями, которые, казалось, своими руками разрушали только что созижденную за три четверти часа новую человеческую цивилизацию, удерживало, казалось, только солнце, щедро латавшее людское уродство: пинг-понгом цокая от одной бетонной ущербины к другой, разом беззвучно выбивая уродливые окна, ослепляя бракованные здания, а заодно и зрителей, растравливая, заливая, растушеванная ярко-желточный пожар, так, чтобы стыдливо закрыть как можно больше чудовищной рукотворной плоскости.

У синеватого с лица велосипедиста с тараканье-рыжими дрэдами (он стоял, перегородив дальнюю дверь, держа под уздцы свой почему-то тандем – ярко-желтый боливар, с непонятно для какого и где скинутого друга предназначенным задним седлом, навьюченным четырьмя сомнительными ртутного цвета капсулами-термосами) народом была выпрошена «на секундочку» – и тут же с концами пошла по рукам и моментально оказалась разодрана по четырем складкам карта местности; а сам синюшный растафари был срочно допрошен с пристрастием; и когда в его слабовнятной расфокусированной речи сквозь разъеденные кислотой черные зубы фрумкнуло слово «форштадт», без всякого труда переведенное, даже Чернецовым, как «пригород», громких комментариев, экспрессивно описывавших внезапно нагрянувшую действительность, даже Анна Павловна, при всех своих преподавательских вокальных способностях, уже не могла заглушить любезной беседой.

За окном пошли огороды. Проскочив мерзкое железобетонное чистилище, поезд въезжал в откровенно деревенскую местность. А их все везли и везли.

Хэrr Кеекс в полном опупении, то поддерживая рукой щетинистую челюсть, то еле сдерживая выпиравший бородатый подбородок и орудуя им как рулем, дико вращал глазами вслед за буянами, явно все еще не в силах утрамбовать в голове, как это его академичные мысли о приезде русских так быстро материализовались, да теперь еще и так шустро раскатились по вагону живой дюжиной, с криками, столь до боли понятными по любовно им изученной узкопрофильной книге (казавшейся еще вчера такой неприменимой роскошью) советского аргю, короче, русского мата.

Огороды с неказистыми безвкусными домами, чуть-чуть разве получше, чем у председателей колхозов, все суетились и пытались собраться с мыслями и повернуться к поезду лицом, а

все получалось задом: растрепанными теплицами да грядками, да грубыми сараями для инвентаря. Потом и они исчезли. Высоковольтные столбы, параноидально прямые доли распаханых лужаек и коровники с алой черепицей ковыляли теперь навстречу.

Массы, терзавшие карту, смекнули, наконец, *то*, что Дьюрька и Елена давно уже с ужасом наблюдали и без всякой картографии, воочию, не отрывая задов от сидений: из Мюнхена они давно уехали.

– Это нам что ж – в провинции гнить? – ни к кому не адресуясь, кроме разве что потолка и распаханных по багажным полочкам сумок, с оперным гневом, вскидывая руки, пропел, без тени запинок, вылепившийся в митинговую позу в проеме Кудрявицкий, доведшая фразу с обеих сторон и в середине сочными междометиями, которые выводились у него особенно гладко и без заиканий.

– Хэrr Кеекс, уважаемый, а сколько ехать, нам, еще, примерно, пожалуйста, скажите мне? – кокетливо, забавно, по одному собирая и механическим тоном выстраивая железобетонные кубики немецких слов, даже без цемента, осведомилась у Кеекса Лаугард, все пытавшаяся выбить хоть какую-то пользу из этого бесполезно сидевшего напротив тренажера.

– Да. Да. П «о» матушке... – приговаривал Хэrr Кеекс, продолжая отвечать собственным мыслям, и вода бородастую свою голову за подбородок из стороны в сторону, все еще не в силах ни с кем разговаривать, в оторопи естествоиспытателя, прикорнувшего на часок за микроскопом, а потом раскрывшего глаза и увидевшего бациллы, разгуливающие вокруг него по лаборатории в человеческий рост. И теперь он посекундно в то ли восторге то ли в беспомощном отчаянии, то приближал к глазам пробирку, то отодвигал ее прочь, как заведенный, – что на размер материализовавшихся лингвистических бацилл, впрочем, уже никак не влияло.

«Уеду. Кину вещи – и сразу уеду. Назад, в Мюнхен, а потом сразу махну во Франкфурт, в издательство, – мстительно решила Елена, мутно, с подступающей от бессонницы тошнотой, пытаясь сморгнуть провозимый за окном пейзаж, от которого мутило еще хуже, чем от бессонницы. – Пусть вытурят из школы. Что они еще могут сделать? Все равно уже школе конец. Три месяца осталось до выпускных, до конца этой унижительной школьной пытки – так они еще и здесь решили жизнь испортить? Аттестата не дадут? Да плевать!»

Воздвиженский, который все это время и с места не сдвинулся, но которому непонятно каким образом, как с потолка, в ходе общей заварухи в проходе, свалился в руки как раз нужный обрывок карты, быстро и сосредоточенно, шмыгая носом и буча губы, изучил его, и, словно прочитав мысли Елены, вдруг, по-деловому, тихо произнес:

– Не волнуйся. Дотуда не больше расстояние, чем от Кремля до Сокола.

С момента ее вокзального боевого похода в туалет и после его злобного выговора, она с ним вообще зареклась разговаривать. А сейчас еще как-то и особенно возмутительно звучал этот его рассудительный тон – ну, что, дескать: и на Марсе в лужах тоже может быть жизнь – чего вы все волнуетесь? Эта его оскорбительная адаптируемость, и эта его быстрая, ушлая, ориентация по карте, и эти его...

– А Ольхинг, между прочим, – это герундий от имени Оля. Ольга в процессе. Как в английском... – негромко, как будто для внутреннего потребления, проговорила Аня, с напускной кротостью, держась за вертикальную державку, стоявшая в противоположном конце вагона (напротив скапустившегося на корточках обдолбанного раста с великом), как бы миролюбиво делаясь лингвистической находкой со Фросей Жмых – но так, что слышали все и заржали, засмущав Ольгу Лаугард.

Кудрявицкий моментально подсел к Лаугард – ногами в проход, на кресло сзади, и, решив опять на всякий случай (для самообороны – чтоб не сразу получить по башке) картинно позаниматься, стал дразнить ее: «О-о-о-о!»

Местечко, куда их везли, Ольхинг, оказалось, судя по карте, расположенным между Фюрстенфельдбруком и Дахау: упоминание о последнем соседстве вогнало Дьюрьку в такую густую краску, как будто при нем кто-то снова в деталях рассказывал про нужник.

За окном как будто бы что-то изменилось – похоже было, что они с трудом оторвались от поля притяжения большой планеты Мюнхен – кое-как пережили зону смешанной межумочной турбулентности из-за пролетающих (мимо окон) железобетонных типовых ошметков человеческой природы и массовых застроек, которые сами же на себя прикрывали глаза, чтоб не видеть свою убогость, – и теперь шли на приземление к планете малой: наметилась какая-то сносная, условно терпимая перемена в моде домов – дома подтянулись и начали смотреть за собой, очень стараясь быть непохожими на соседа. А огороды заменились непрактичными, нефункциональными садами. Что-то вдруг как будто стронулось и перестало быть безнадежным.

Сохраняя на губах защитную полуулыбку, Елена смотрела строго в сторону: в окно с остановившимся сельским видом; на розовощекого Дьюрьку с восторженными устричными глазами в окне, отражающегося позади нее самой; в центр электрички, на мельтешащего в непонятной панике и зачем-то рыскающего под креслами наркушу, трясущего шваброй дрэдов, выметая ими пол – но никак не находящего чего-то искомого; на его с грохотом упавший и перегородивший вагон велосипед-тандем; на раскатившиеся капсулы с неизвестным товаром внутри; на Чернецова, вывозящего коляску с младенцем на платформу за белокурой девушкой, и делающего вид, что остается жить там, в деревушке с ругательным названием Грёбэнцэлле. Анна Павловна вскочила, рванулась к двери, топнула ножкой и заорала: «Чернецов! Ты что совсем с ума спятил?! Немедленно сюда!» – «Ага! Испугались, Анночка Павловна! Испугались меня потерять! Во-о-от! То-то же! – ликовал вспрыгнувший в последнюю секунду обратно в вагон Чернецов и с нечеловеческим хохотом трепал за узенькие плечи обомлевшую от ужаса классную: – Не цénите! Не цénите меня, пока я с вами!» Но периферийным зрением Елена все время почему-то зацеплялась за руки Воздвиженского, крутившие и так и эдак объедок карты: руки удивительно молочные, непрактичные, нежные, никак не вязавшиеся с его агрессивно прагматичным умом.

Слегка знобило, и Елена подумала, что лучше бы проспала вчерашнюю ночь между Аней и Анной Павловной – мир не висел бы сейчас вверх тормашками. И может быть, даже пейзаж за окном был бы получше.

– Нэкстэр хальт – Ольхинг! – объявил, подув предварительно в микрофон, как будто сам себе не очень доверяя, человеческий голос – по-видимому, машинист. – Пожалуйста, выходите слева.

И вдруг – словно демаркационную линию напряжения перешли: в воздухе словно полегчало, слева распахнулось щедро распаханное бесконечное поле, с пробивающимися ярко-зелеными проростками; а разнеженные розовые, оранжевые, белоснежные, домики, окружили приезжих с обеих сторон платформы, словно добрые гномы, и, со знающей себе цену хитрецей, как будто посмеиваясь, говорили: «Ну что? Не ожидали такого?» – и приглашали сойти в теплый с приятным рельефом и мягкими садиками крошечный городок, за которым чудилось море – казалось, надо только пройти и заплести уловки в правильный узор – и оно откроется.

Горячий, прогретый солнцем южный воздух, будоражащий сверх всяких сил, воскрешающий, хлещущий через край, с запахами вжваренной хвои, кустарников со свежей стрижкой, лопающихся липовых почек – живой воздух, заставляющий чувствовать, будто впервые вышел из дома, выздоровев после долгой мучительной болезни, – вдруг обнял со всех сторон.

Железнодорожное полотно отсекал от поля заборчик, сочетавший несовместное – все тот же уже навязший в глазах бетон – по пояс – но потом вдруг увенчанный неожиданно изящной прозрачной стеклянной высокой выгородкой с изогнутым дутым воротником на конце – чтоб прямо с платформы можно было любоваться зелеными всходами.

– Лагерный забор с видом! – тут же радостно окрестил комбинацию Дьюрька. Вынырнув из подземного перехода, встали на солнцепек.

Дьюрька, скинув оба вьюка – и сумку Елены, и свою – у пристанционного павильона, с видом директора, интенсивно размахивая на ходу руками, направился инспектировать близлежащую автобусную остановку.

В павильоне (домике, к счастью, с минимумом бетона, и с большими стеклянными окнами) газетная лавочка, дразнясь, благоухала даже через стекло вкусным фруктовым табаком для трубок, фруктовой же жвачкой и свежими журналами – но оказалась заперта.

Город казался необитаемым. Цыкали кузнечики. Москвичи притихли и шурились на солнце как ящерицы. Приятно шаркал асфальт под подошвами на дорожке: по-летнему.

Дьюрька, уже резво семеня на полусогнутых, вернулся обратно, опять бордовый, трясясь от нервного хохота – схватил Елену за рукав рубашки, и, будучи даже не в состоянии объяснить по дороге причину, подвсхлипывая только: «Нам туда не надо!», подтащил ее к чистенькой, до кристального блеска вымытой стеклянной остановке и ткнул пальцем в указатель: «Автобусы на Дахау».

– Ты только посмотри на них: выглядят как сироты, ждущие, когда их немцы приедут разбирать по семьям! – вдруг обернувшись, жарко шепнул ей Дьюрька.

– Ты хотел сказать «посмотри на нас»? – засмеялась она.

Расплескавшие на ходу по всему тротуару сумки, а заодно и самих себя соученички – во главе с долговязым антикоммуникативным Хэрром Кеексом, который на всякий случай, для поддержания ритма, все время приговаривал увесисто: «Да. Да.», раскачивался, скрестив руки, и смотрел в асфальт, в котором, казалось, сейчас прожжет дырку; и стушевавшейся Анной Павловной, которая от усталости уже даже перестала отбиваться от ободряющих объятий Чернецова, и только брезгливо морщила нос, – выглядели действительно сиротливо.

Никто за ними не приезжал. И не приходил.

Стадо из полтысячи велосипедов (вероятно, строго по числу жителей города, подумала Елена), прикованных парами вертикально, нос к носу, под навесами с двух сторон от павильона, было похоже на застывшую баталийную сцену дерущихся между собою усами гигантских кузнечиков.

– Я п «о» йду, п «о» жалуй, п «о» зв «о» ню! К «о» му-нибудь. Я же сказал им. Но в виду «о» п «о» здания поезда, видимо, было трудно изменить планы, – выговорил, наконец, судорожно расчесывая свою бороду ногтями против шерсти, Хэrr Кеекс.

Вдруг из-за поворота со сладчайшим звуком вывернул первый автомобиль, за ним посыпался второй, третий, и русских детей стали разбирать как какой-то дорогой товар – из автомобилей выскакивали родители, улыбались как можно радушнее, кланяясь, и предлагая себя, и с надеждой произнося «Ну, кто хочет к нам жить?»

Дьюрька первый решил и сел в роскошный джип. Потом забрали Аню. Следом подобрали Кудрявицкого.

Стремительная лотерея продолжалась всего минут пять.

Машины, как на формуле-1, на бешеной скорости заезжали в боксы на дозаправку и смену шин – вернее, подхватывали доставшегося по счастью русского – и уносились прочь с добычей, скорей-скорей, пока не отняли другие, налетевшие следом семьи.

– У нас – девочка! – выкрикивали первые, будто в роддоме.

– А у нас – мальчик! – кротко рапортовали следующие родители. И вытягивали из группы не понятно по какому принципу делавших выбор русских.

Воздвиженский, делая шаг вперед по направлению к выбранным им «родителям», обернулся к Елене, и, рассматривая ее в упор, раздраженно, с осуждением произнес:

– У тебя шоколад на носу. Вот здесь... – протянул бледный палец, но, испугался и, не дотронувшись, сразу же отдернул. – На самом кончике. Где это ты уже успела? – развернулся, и залез в автомобиль.

Жальче всего было Гюрджян. Она и так-то всегда ходила с вечной флегматичной восковой грустью в лице, ни в кого никогда не влюблялась, и похожа была скорее на тоскливого бледного принца без королевства, чем на девушку. И у Елены всегда сжималось сердце, потому что казалось, что Гюрджян обречена на вечное, несчастное, бессмысленное одиночество. А другие впрямую (в смысле, за глаза) так про нее и говорили: «Бедная, бедная, длинная, и с этим своим огромным армянским клювом, слишком скучная, слишком правильная – она никогда в жизни себе никого не найдет!» А тут еще, когда русские мальчики «закончились», а приехала мать немецкого мальчика-гимназиста, хотевшего найти надежного русского друга, Гюрджян с какой-то жертвенностью, как будто окончательно махнув на себя рукой, грустно пролепетала: «Ну ладно, что ж делать. Я пойду. Надо же кому-то», – и забралась в машину.

И поехала на страшную пытку – жить в доме с незнакомым фрицем.

При этом гораздо более бойкие и смазливые матроны, которые как раз и декларировала мечты поскорей встретить заграничных женихов, от такой смелости застенчивой Гюрджян, стоя в сторонке, просто рты разинули.

Сама Елена до самого последнего момента не могла сделать выбор – интуитивно все ждала и ждала – и наконец, когда на площадке перед станционным павильоном не осталось уже никого, кроме нее самой, Хэрра Кеекса с Анной Павловной и Ларисы Резаковой, подъехала уже только одна, последняя дамская маленькая жукообразная вишневого цвета машина, и мамаша неведомой немецкой девочки вышла и, извиняясь, объяснила, что она должна забрать не одного, а разом двух детей – для себя и для еще одной семьи, у которой сегодня, как специально, всё посыпалось: мать не смогла вовремя прилететь с горных лыж – задержали рейс из-за урагана; муж поехал её встречать в аэропорт, но у него на полпути сломалась машина; а дочь вызвали в больницу, потому что занемогла ее бабушка – и тут Елена радостно, по какому-то необъяснимому музыкальному диссонансу, согласилась стать той, самой последней, которая поедет в эту самую раздолбайскую семью.

Картавое и жеманное Крутаковское «Ну как добрррр-а-а-алась?» – такое смешное, такое декоративное, такое нежное, играющее, висящее в воздухе, и такое непохожее на окающее, увесистое, прямое, мужиковатое Хэррово Кеексово «Как д «о» ехали?» – казалось таким простеньким и проходным – а рассказать Крутакову ничего оказалось невозможно.

Вынырнув из туманностей бабл-гама, где заново монтировались у нее в обратной раскадровке со случайным шаффлом эти картинки первого заграничного дня, Елена подумала: «Странно. Чего в них такого криминального? В этих картинках? Вот так, собственно, и доехали». А на рассказы, тем не менее, внутренним цензором был повешен непрекращаемый огромный амбарный запрет.

Она с легким головокружением, как космонавт при приземлении из невесомости, выбралась из ванны и обернулась, как мумия, в свое любимое махровое полотенце, привезенное из дома, занявшее у нее в спортивной сумке добрые три четверти места; полотенце перегрелось на батарее, и, плюс к тому, еще и было слегка пересушено Маргой в барабане стиральной машины – до состояния легкой колкости (Марга с неотслеживаемой молниеносностью умудрялась каждый день стянуть полотенце, и утащить в неведомые подвальные прачечные закрома дома, и в результате каждый вечер этот только что выстиранный щедрый махровый отрез, свернутый особым образом: тугим свитком, оказывался вновь заложенным на полочку радиатора – а когда Елена изумленно спрашивала, когда ж это Марга успела, хозяйка в ответ только умиленно улыбалась). Войдя в свою комнату (предоставленную ей Катаринину детскую, так и не перестроенную по мере ее взросления, обставленную с игрушечной мягкостью; сама Катарина спала внизу в гостиной; Марга – в нижней спальне; а Францля, мужа Марги, вообще на время визита

Елены сослали спать на соседнюю улицу, в дом к Маргиной сестре Амброзине – за то, что он храпит по ночам), Елена с мукой мучной взглянула на часы – выжидательно глазевшую на нее из темноты комнаты электронную совушку – половина шестого утра! И опять не хватало (уже который день подряд!) времени одиночества – чтобы прогнать на скорости и переварить все дневные впечатления – и выварить из этого внешнего секулярного серибериеша те струнки, поля напряжения, световые каналы и шлюзы, рифмы семантики, тропинки, ниточки, по которым, на самом деле, она всегда и ходила, и по которым, на самом-то деле, только и можно было пройти – а вот сейчас вся эта штормом бьющая в лицо новая, агрессивно требующая участия, внешняя реальность – как будто сбивала с ног, не давала ничего толком внутренне расчувствовать – и выбрать шаги во внутреннем пространстве. Внешне, ново, ярко, быстро... Хотелось как-то резко отшатнуться, отступить в сторону – тихо отвернуться с молчаливым вердиктом: «Это всё не мое». Хотя в то же самое время глаза ее, уши, всё ее внешнее существо – жадно всю эту новую реальность впитывали – и иногда ей казалось даже, что ее внешний и внутренний человек еще больше, чем когда-либо, между собой воюют. Счастлива она сейчас – или несчастлива? Радостно ей – или горько? Свободна до одури, до звона в ушах – или в плену у этой сладкой бури внешнего потока? Ответов было так много каждую секунду, и они так быстро, кубарем, налетая друг на друга, друг друга сменяли – что она уже просто выбилась из сил. А теперь вот опять через полтора часа придется вставать и нырять в этот внешний ураган. Елена, пытаясь унять головокружение, на секунду приросла щекой к правому косяку двери, и неожиданно для себя самой расхохоталась, когда в памяти снова заграссировал, затанцевал, жеманный голос Крутакова:

– А негррров-то пррридется доделывать!

– Чего-чего?

– Негрррров, говорррю, доделать пррридется! – тоном выговора, безапелляционно и картаво заявил ей Крутаков, когда на следующий после приезда день шутовскими деталями она пыталась заглушить его немое недоумение в связи с отсутствием их обычной игры в рассказы.

– Расист.

– Я говорррю: негрррр у тебя на вокзале невнятный получился. Я его не увидел. Какая у него голова? Лицо? Я его не вижу! Пррридется доделать. Нафига мне его дубленая грррудь? Грррудь у всех мужиков пррримееррно одинаковая!

– Фу, всё, проваливай отсюда, из моей трубки. Пошляк.

– Ничего я не пошлил. Это ты сама за меня додумала. А какая, кстати, трррубка у телефона?

– С хвостом облысевшей пумы, которая, на радостях, что идет в горы, набралась смелости и сделала себе крутую химическую завивку.

Елена прекрасно чувствовала, что Крутаков все чувствует. Более того: что Крутаков чувствует, что она чувствует, что он чувствует. Что Крутаков боится задавать вопросы. Боится нажимать гудки. С суеверным ужасом, что она пропадет сейчас где-то там, в запредельном.

– И вообще не выпендривайтесь там, девушка... – примирительно пропел ей Евгений теперь уже вот этим вот вечером, сам обрывая разговор и жеманно притворяясь, что куда-то спешит. – Ваш, девушка, любимый иста-а-арррический перррсонаж тоже, между прррочим, был всю жизнь не выездным – как и я. И за гррраницей он тоже никогда нигде не был. Не считая, ррразве что, Египта. Да и то только во младенчестве.

И это уже звучало со стороны Крутакова как отчаяннейшая взятка.

Крутаков ходил в разговорах на ощупь, как будто впотьмах, как по минному полю, и прекрасно осязал, что она носит, копит и удерживает в себе мир, который вдруг стал для него непроизносимым.

И хотя будоражащие эпитеты, сложно и легко сочиненные солнечные деепричастия и прочие воздушные, переплавлявшиеся на ходу в слова частицы мироздания, – которыми она

ежесекундно в этой новой реальности внутренне захлебывалась, – все время лучились каким-то загадочным образом именно в его, Крутаковскую, сторону, будто с ним сверялись, ему адресовывались, как единственному адекватному слушателю – однако выпустить все это на поверхность ей казалось кощунством невообразимым.

Еле добредя до кровати – кукольной, с трехслойной очень высокой и восхитительно мягкой периной (о ней она все-таки Крутакову в один из звонков не удержалась и рассказала – как о детали комической – за что была тут же им раскатисто окрещена: «Пррринцесса без горррошины!»), и нырнув, и провалившись в пухлую постель почти как в пену, и зарывшись в одеяло с головой, чтобы не видеть зыркающую на нее электронную сову на тумбочке (а по возможности – чтоб ее и не слышать, и проспать хотя бы минут на пятнадцать тот момент, когда эта стерва начнет спозаранку еще и орать не своим голосом, изменяя всякой совиной природе), и еще и еще раз перебрав на быстрой перемотке кадры, вырезанные при цензуре, и замерив внутреннюю температуру при просмотре каждого из эпизодов, она изумленнейшим изумлением изумилась, когда обнаружила, что даже Воздвиженский неприкасаем, что рассказать про него Крутакову, даже в шутку, оказалось так же неудобоваримо, как немыслимо было бы пнуть ногой в живот собственного щенка.

IV

Единственной серьезной проблемой, обнаруженной ею в первое же утро по пробуждении в Ольхинге, было то, что по утрам ей придется вставать. Предполагалось, все же, что она будет ходить вместе с Катариной на занятия в гимназию. Поэтому она стеснялась сразу потребовать ключ – и выспаться.

Выйдя с огромной глиняной некрашеной кружкой с тройной заваркой чая в сад, через заднюю круглую веранду, и с трудом продирая глаза, она смотрела, как ворон с лакированным клювом прилетает воровать мох из-под яблони для гнезда. А пройдя чуть вглубь, обнаружила на низеньком чешуйчатом голубом можжевельнике невозмутимо разлегшихся (как будто они – можжевельниковые плоды) улиток, похожих на старушек с каштановыми крашеными спиральными пучками волос на затылках, заколотых шпильками.

Играла с улиткой, выставляя ей безымянный буфер; та тотчас вдергивала лютиковые глазки в домик, как ошпаренная, но потом через секунду снова тянулась наружу, осторожно, по одному, выставляла нежные близорукие перископы – и по каким-то приметам точно знала, что никакой серьезной опасности нет – и совсем скоро высовывала всю любопытную голову с полным обмундированием – явно выпрашивая пирога.

В нижнем этаже можжевельника обнаружилось чудом сохранившееся темно-карамельное мумифицированное прошлогоднее яблочко – можжевельник явно подставлял ладони верхним, на случай если что-то плохо лежит. Судя по миниатюрным дырочкам, размером с острие английской булавы, яблоко было выедено изнутри насквозь – и не улитками. Но на всякий случай Елена решила до него не дотрагиваться и не проверять.

Марга выплыла в сад, в светло-коричневом длинном просторном тинэйджерском шлафроке с капюшоном, распаренная, только что изжарив себе в духовке бекон и уже ловко заложив его, сплющив вдвое, в масляную пасть зэммэля, который несла теперь в левой руке на блюдечке, придерживая сверху большим пальцем; в правой же горсти лелеяла почищенную и нарубленную морковку; дойдя до Елены и увидев можжевельниковое лежбище, Марга поприветствовала улиток своими всегда чуть подвздрагивавшими губами, каждую секунду готовыми расплыться в умиленную улыбку, отчего мелкие морщинки вокруг губ – бороздки, в которые не въелся высокогорный загар, – струились лучиками; улыбкой же она в равной мере щедро – что удивительно – одаривала не только животных и детей, но даже и взрослых. Эвбксэнэ. На ее байковом черноземном говоре.

Дама, лет под сто пять, обитательница соседнего дома, с пятнистым, инкрустированным лицом (к щекам и ко лбу по мере лет как будто бы пристали летевшие в лицо пылинки, сор, и даже обгорелые кусочки газет) и абсолютно белыми, тщательно уложенными буклями, раздетая так, как будто сейчас же бежит на вечеринку в какую-то крайне (старо)модную компанию, подползла со своей стороны заборчика, прозякая и подшипывая зубами безостановочно что-то типа «д зун шинт ши!», вспрыгами переставляя вперед металлические ходунки, аккурратно перегребая жемчужными туфлями-лодочками с плитки на плитку, строго по садовой дорожке:

– Это что же у нас тут за девочка? – трясущимся голоском осведомилась, наконец, она, пришвартовавшись у оградки. – А-а-а, племянница из Вены? Вижу-вижу! Как выросла, а!

«Ну, сейчас она у меня умрет, когда узнает!» – вполголоса продышала куравом на Елену Марга и, лучась любвеобильной улыбкой, направилась к забору.

И только было Марга, откашлявшись, приготовилась хлопнуть старушку удивительной историей про русских, вырвавшихся из-за железного занавеса, как из соседского дома выбежала сухопарая истошно рыжая нимфетка (лет на двадцать Марги старше) в красной мини и обтягивающей скелетон водолазке в тон, и завизжала:

– Не рассказывайте ей ничего! У нее все равно склероз. Она все через секунду забудет! – подбежала, прихватила мать, и насильно увела ее под руку обратно в дом, шкрябая плиты дорожки волокомыми сзади ходунками. И уже с крыльца, впихнув забывчивую старушонку с буклями внутрь, а ходунки швырнув снаружи, обернулась, и мстительно бросила Марге: – Зря вы ее жалеете! Не разговаривайте с ней! Она вон меня вчера про Францля спрашивала: что это за чернявый кавалер у Марги, и сообщила ли она, интересно, о нем своей матушке! – и захлопнула дверь – с внешней стороны которой на крючке закачался грязно-зеленый, псевдоловый, с псевдоклюквенными и псевдоколокольчатыми вкраплениями, венчик, оставшийся, видать, еще с Рождества.

– Ум Готтс вуин... – только и протянула, выдохнув всей гармоникой бронхов Марга, и понесла морковку кроликам, с которыми надеялась скоротать свой завтрак – бутерброд с околевшим уже беконом.

– Мама, ты опять курила?! – заорала на нее Катарина, только что вернувшаяся с прогулки с Бэнни по полю. Зайдя с переднего крыльца, она пробежала насквозь через столовую и кухню, и теперь с криками спускалась в сад с веранды с отстегнутым поводком в руке. – Зря ты вот так вот потом окошко в кухне распаиваешь! Думаешь, у меня совсем нюх отшибло, да?! Тебе что доктор сказал на прошлой неделе? А? Ты что ему обещала?!

Марга, с испугом, выпятив губы трубой и подмигнув Елене, пустилась уже наутек к сараю, скорей втемяшила прямо на землю блюдечко с сэндвичем, отперла дверцу, ухватила за шкурцы кроликов, и экстренно вытащила обоих на траву, чтобы отвлечь внимание дочери.

– Мама! Ты слышишь, что я тебе говорю!

Бэнни, обошедший тем временем участок вперевалячку с левого крыла по узкой гравийной дорожке за гаражом, и мельком дописав остатки на угол дома, зашел на веранду, привычно всунул обмусоленный теннисный мяч на место – в кадку с южкой – откуда взял его выбегая на прогулку, и хотел было рвануть ластиться к Марге; но, увидев, что она возится у сарая, внезапно как бы замешкался, передумал и с виноватой улыбкой завертелся волчком на месте.

– Трус, – сказала ему Катарина. – Пойдем! – и легонько подпихнула рваным джинсовым коленом.

Бэнни храбро осклабился. Качнулся вперед всем телом.

Но никуда не пошел.

Гулливьеры-кролики были размером с двухмесячного щенка овчарки, обладали собачьими же мохнатыми крепкими лапами и грустными, человечьими глазами. Появились они в

доме всего неделю назад – по просьбе Катарини – и еще не имели имен. И чау действительно трусил. Не понимая вообще, что это за мутанты.

– Французский Баран! – гордо представила зверюг Елене Марга, тяжело взвалив обоих под передние лапы к себе на грудь, и, выпучив губы, с мычанием чмокая то одно, то второе нервно ходившие ходуном каротиновые рыльца.

Катарина с не меньшей гордостью поглаживала их спины, и поддерживала дергавшиеся как на пружинках задние мохнатые лапы. Ей явно не терпелось самой уже взять их на руки:

– Мама, а ты уже позавтракала?

Марга ахнула и обернулась назад, под ноги.

Но никакого зэммэля с беконом на блюдечке не было.

Бэнни с горя и стыда под шумок слямзил булку и слинял в дом.

Глядя на их воркотню и дохлебывая чай, от которого натошак страшно тошнило, но зато мир возвращался на место, Елена теперь уже как местный фольклорный курьез вспоминала леденящую душу, кошмарную ночь: едва она заснула, откуда-то снизу (она не сомневалась, что из гостиной, где спала Катарина, или из Маргиной спальни) раздались истошные то ли пьяные, то ли опьяненные жестокостью крики. Кричал кто-то, кого убивали; а потом кто-то, кто убивал сам, измываясь над жертвой:

– Вос из?! Воф катцэль швоф!

Елена забилась в угол: вот тебе и милая раздолбайская семья! А теперь она одна, в незнакомом доме – попалась к германским маньякам!

– Вос зогсд?! Дэс гейд ауф коа Куахаут! – орали снизу все более угрожающе.

Вертухайские крики (абсолютно непередаваемые) продолжались с минуту. Кто-то истошно плакал, а кто-то потом навзрыд хохотал. Елена от ужаса даже двинуться не могла. Вдруг все стихло. Елена встала, заперла дверь на ключ и, как в бреду, сунула ключ под перину и, дрожа, прислушиваясь, забилась к стене, боясь даже представить себе картину, которую она сейчас увидит, если выйдет из комнаты, и боясь даже спрашивать себя, «куда ей бежать» в этом незнакомом городе, в этой незнакомой стране, в этом мире; и эта игрушечная спальня, и заботливая хозяйка, и даже улыбчивый Бэнни – всё казалось теперь такой лживой, болезненной декорацией; и вдруг – уснула – усталость победила ужас.

Утром, когда она с ощущением катастрофы, едва открыв глаза, даже не умывшись, высвободила себя в меру золотым ключиком из бункера (со сна все еще не верилось в реальность ночной жути – и особенно неправдоподобным, когда она засунула руку под перину, представлялось то, что сейчас она там найдет ключ), сбегала по лестнице вниз, и увидела на кухне добрые лица обеих обитательниц мирной виллы – и, тупя глаза, с обмирающим сердцем, как в каком-нибудь готическом романе, с порога спросила, не слышал ли кто из них, случайно, ночью, как кто-то страшно кричал, – обе прыснули.

– Извини! Ох, хо-хо-хо-о – извини! – трясся бюстом от грудного хохота, кашляла Марга, не переставая своими крепкими загорелыми руками с клецаньем нарезать огромным тесаком на толстой круглой деревянной кухонной плахе веснушчатые яблоки гольдэн, которые успела спозаранку выбежать купить к зеленщику. – Францл, мой муж, среди ночи заявился домой – забыл взять кое-что для работы, а ему вставать сегодня очень рано надо было. Вот он и сдернул сдуру случайно в темноте покрывало. На веранде – хо-хо-хо! – пойдем, покажу!

Неся на блюдечке резное золотое яблоко, как будто подношение какому-то неведомому царьку, Марга провела ее к дальнему углу веранды и сдернула кулисы с виновника триллера: огромного пестрого говорящего попугая ара, причем говорящего исключительно на баварском:

– Вос из?! Воф катцэль швоф! – и опять потом застонал, как добиваемый, истерзанный смертельными ранами человек.

На секунду испытал облегчение – Елена сразу же слегка помрачнела, подумав: «Интересно, раз он эти звуки воспроизводит – значит, он их где-то слышал?!»

– При нем даже нельзя телевизор включать! – как будто отвечая на ее мрачные догадки, успокоила Марга. – А то он потом нам разыгрывает эти... Спектакли! Мы его всегда ночью, или когда гости, под покрывалом держим. Хулигана. А! А! Ну что! Куки! Куки! На, держи яблочко! Хулиган!

Куки перенесли, в его гигантской клетке (которая по своим просторам вполне могла показаться дворцом даже для Бэнни), на кухню и взгромоздили на круглую тумбу у окна, откуда он начал зорко следить за появлением на столе новых блюд – и то и дело надзирательскими окриками одергивал каждого, кто тянул к еде руки:

– Вос из?!

Пока не получал в лапу, крутящуюся как на шарнирах, и вымогательски высовывающуюся наружу из клетки, лязгая тремя клешнями, – сначала один кусок – а потом, цепляясь за металлические прутья и пойдя по ним в разгул клювом, как третьей ногой, зажав в левой припасы, а правую продолжая выпрастывать в самых неожиданных местах, выворачивая вверх ладонью и выразительно клаца палцами – еще один кусок яблока. И Елена поняла, зачем Марга нарезала сразу так много яблок – чтобы по крайней мере, пока она сама готовит себе еду, держать его рот занятым. Кляп-то не заткнешь.

Куки держали только в клетке. И по дому летать не разрешали. Чтоб не наставил повсюду на мебели крупных умяутов.

Да и Бэнни, кажется, умер бы от сердечного приступа, если б еще и это чудовище выпустили.

Завтракать Елена наотрез отказалась: всегда ненавидела есть спросони, тем более не выпавшись, тем более перед школой; и любая еда утром вызывала тоскливый коловрат в солнечном сплетении, ассоциируясь с отвратной, притворно-приторной звонкой «Пионерской зорькой», озвучивавшейся какими-то фальшивыми перестарками, и отравлявшей авансом весь день, – если, не дай Бог, не успеешь вовремя выключить радио на кухне. А тем более, что предложенные ей Маргой овсяные хлопья с молоком вызывали в гастрономической памяти лишь склизкую простывшую геркулесову кашу в школьном авгиевом буфете.

Она присела на вертящийся табурет у клетки и, катаясь, по полукругу, поджав ноги, отталкиваясь от подоконника, все еще с некоторым ужасом наблюдала за громадной птицей, сопоставляя ее диалектовое самовыражение с ночными звуками.

Здороваться за руку с пернатым граммофоном Марга, на всякий случай, «пока», не рекомендовала.

Катарина с поразительной скоростью выхлебала глубокой ложкой свои неглубокие мюсли с молоком, и убежала выгуливать Бэнни.

– Ну какую еду мне тебе приготовить, чтобы ты была счастливой? – с искренним отчаянием спросила Елену Марга. Считавшая, как каждая мать, что если ребенок не поел с утра – то это верная гибель.

Елене была выдана безразмерная – и, как она подозревала, пивная – глиняная кружка, в которую она, к суеверному ужасу Марги, сразу сыпанула три ложки заварки, залила прямо туда кипятком, и отправилась в сад – проветриваться, пока Марга жарит бекон.

Жуткая ночная тайна развеялась. Но осадок недоверия где-то на доньшке колыбался.

Во внутренностях дома затрезвонил телефон. И Елена с приятным чувством вспомнила его муфточку.

Марга, спустив братцев кроликов на мураву и наконец-то дав их дочери потискать, побежала через веранду в дом.

Катарина присела на корточки и, подцепив под пузо, перетасила обоих кроликов-баранов на облезлый деревянный столик в центр сада – и основательно уселась рядом на раскладной стульчик. Обласкивая обеими руками дрожащих на столе любимцев, одновременно, сло-

жив губы трубой (и внезапно в этот момент став до смешного похожей на Маргу), Катарина утробным звуком приговаривала:

– Они – кастрированные. Они – только для красоты. Мы их на мясо никому не отдадим... – и, заглядывая грустному меховому клоуну в глаза, вздернув и почесывая ногтем среднего пальца его подбородок, и еще больше понизив тон и вытянув натуженные губы, переспрашивала его: – Правда? И шкурку с них снимать никому не дадим. Правда?

Через минуту Марга оборвала блаженство Катарины, бася с веранды:

– Выметайтесь скорей! Живо, обе, марш! Мне звонили только что из учительской, говорят: срочно везите русскую. В гимназию приехал журналист с Баварского радио – хочет взять интервью у первой группы школьников из Советского Союза. Если б не он, то, конечно, и опоздать в гимназию можно было б! А то и вовсе...

И на этих словах Елена наконец-то с облегчением подумала, что попала в нужное место.

Школьный автобус останавливался за углом, через три квартала. В салоне уже сидел друг Катарины – Мартин, модно стриженный блондин, с великолепной асимметрией приклеенных к голове куцых локонов, в великолепной же приталенной вельветовой куртке, с тонкими губами и большим лбом, разбавленным сплюснутыми прямоугольниками горизонтальных очков, придававших его зеленым прищуренным глазам что-то от ящерицы; привстав, со своего сидения, Мартин дважды, с интимной задержкой, поцеловал Катарину в обе щеки.

«Ничего себе вольности в шуль-бусе!» – с удовольствием подумала Елена.

Подарочные коробки и упаковки домиков, на нарядной главной улице, автобус обидно скоро проскочил, не разворачивая. Нырнули в нору под железнодорожными путями, где электричка проиграла им себя удешевленным хэви-металлическим стерео и в ушах и во всем теле. И въехали во вторую дольку городка – чуть более современную и скучную. На Фердинандштрассе, перед школой, справа по курсу пустовало безразмерное футбольное поле, а сама гимназия, низенькая, сложенная как будто бы учениками младших классов из красных кубиков, встречала неожиданно даже веселым техногенным уютом и совершенно излишним, вездесущим запахом ветчины и яблок.

Учебная часть, с дубовым крестом над входом в директорский кабинет, поведала им лиричным голосом густо накрашенной секретарши, казалось, взлетающей на своих ресницах, что интервью состоится только во время второго урока: журналист сел поболтать с Хэрром Кеексом, а это – надолго.

Пришлось идти на урок математики.

Матвей Кудрявицкий, оказавшийся с Еленой в одной группе, блистал. Вызвался к доске и, безжалостно кроша кусок мела, разнес в пух и прах задачку (благо заикаться на немецком было не надо – без слов), оставив немцев в благоговейнейшем изумлении. Гимназийская программа оказалось на редкость расслабленной. И даже Елена, уже с полгода принципиально не ходившая на уроки алгебры к Ленор Виссарионовне, третировавшей весь класс криками, почище Куки, – решила бы задачку на раз плюнуть.

«Вот и хорошо. Прекрасный повод вместо гимназии ездить в Мюнхен!» – подумала Елена, выходя на перемене из класса.

Аня в незнакомом визге и гаме гимназического фойе обрадовалась Елене как родной, забыв даже про обиды:

– А вдруг нас прямо сейчас плясать заставят?! – лепетала Аня, подойдя к ней – обреченно тыча пальцем в возвышавшуюся в фойе сцену, форматом крайне смахивавшую на лобное место на Красной площади. – Я лучше умру, чем напялю на себя этот кошмарный платок!

– Успокойся: они же с радио, а не с телевидения.

– Да? А петь и притопывать и уйлюлюкать?

Анна Павловна перед отъездом обязала всех купить русский «народный» (а по совести – советский экспортный эрзац уже давно вырезанной народности) расписной платок с кистями,

ассоциировавшийся у иностранцев с официозным танцевальным ансамблем «Березка» – от которого у любого вменяемого русского, разумеется, просто скулы сводило, – и заявила, что в Германии они обязаны будут водить хороводы перед немцами: «Иностранцы любят «Березку». Им больше ничего не надо. Придется им показать».

Аня, никогда публично не протестовавшая ни против чего (будь то учительское самодурство или советское уродство), всегда, однако, тихой сапой, но твердо саботировала любое безобразие: и еще в Москве, после объявления Анны Павловны, Анюта купить платок – купила; в сумку положить – положила; но злобно и тихо сообщила Елене, что «заранее сляжет немедленно больной – если Анна Павловна дойдет до этого позора».

Чтобы взбодрить Аню, Елена предложила ей оранжевое конопатое яблоко, всунутое ей Маргой в сумочку.

Анечкины глазки загорелись, как у профессиональной гусеницы – и она тут же в ответ вытащила из собственной сумки огромную синюю грушу – и презентовала взамен Елене. И это был самый выгодный обмен в этот день. На фоне яблок груши всегда почему-то казались Елене роскошью. Кроме того – Елена мечтала поскорей опять увидеть плодояжорские упражнения Ани с яблоком. На этот аттракцион Елене яблока было не жалко.

В тот момент, когда Аня уже выжрала и огрызок и мякоть, и заканчивала, своими крупными передними зубами, обработку зубочистки из яблочного черенка, подлетел Дьюрька, в самом бодром настроении:

– Вот сейчас мы, Ленка, наконец-то, с тобой и сыграем в ту самую игру, в которой меня пытались заставить сыграть в райкоме! «Представьте себе, что вас подкараулил иностранец и интересуется, какова жизнь в СССР!»

Разделили роли: Дьюрька собирался рассказать о том, что урок истории у них в советских школах полностью заменен пропагандой правящего диктаторского режима; и о том, что вопреки провозглашенной перестройке, большинство ленинских, а уж тем более, поздних, недавних, преступлений режима, властью до сих пор официально не признаны; и, что до тех пор, пока не рассекречены архивы спецслужб по репрессиям, не только школьники, но и их родители имеют полностью превратное представление о важнейших событиях не только прошлого, но и настоящего; и о том, что нужен новый Нюрнберг и люстрации, чтоб помочь стране вырваться из плена, и о том что... Елена же намеревалась сказать о необходимости конкретного, прикладного международного давления для прекращения репрессий против антикоммунистической оппозиции.

Однако молодой лохматый журналист – с не менее лохматым микрофоном (эту швабру он вывесил посередине, а всех русских заставил, сдвинув стулья, сесть кружком) вопросы задавал все какие-то мещанские: сколько лет учатся, да какие у них хобби в неучебное время.

Люба Добровольская с эмоциональными всхлипами поведала о своей неборимой страсти к Амадэусу. Лариса Резакова на вопрос, что она любит делать на досуге, с двусмысленной улыбочкой томно пожала плечами: как будто говоря: «Так я вам ща и сказала!» А Елене пришлось схитрить и, используя навыки пред-университетских сочинений (выруливать из любой темы на любую желанную), заявить, что поскольку хобби у нее – журналистика, то в свободное время после школы («Вместо, вместо школы», – захихикал с другой стороны круга Дьюрька) она изучает оппозиционные антикоммунистические движения, которые, кстати, между прочим, чисто к слову, между нами девочками, в Советском Союзе до сих пор под запретом.

Журналист вдруг проснулся и заинтересовался, учат ли советские дети историю. А политологию? А экономику? Как будто решив сыграть в поддавки Дьюрьке.

И только было Дьюрька раскрыл рот и собирался сказать, что никакой экономики в школе нет, и, блеснув термином (позаимствованным у модного лектора на экономфаке) с трагизмом констатировать, что советские дети даже не в курсах, что западные страны давно уже живут

не в капитализме, а в постиндустриальном обществе; и что идеологические директивы, спускаемые учителям истории из райкома, у них в школе менялись за два учебных года уже как минимум три раза: сначала в учебниках все советские вожди были в шоколаде, даже когда о сталинизме уже трубили газеты, потом аккуратненько заговорили об «отдельных перегибах в прошлом» – потом, с боем, но признали, что Сталин преступник; но главное идолище – Ленин до сих пор все еще – в шоколаде, как в шоколаде и актуально правящая в настоящий момент декоративно реформированная диктатура и вся система; и что до самых пор, пока не будет введено люстраций, как в Германии после падения Гитлера, и пока не будет запрещена бандитская ленинская идеология...

Словом, всё то, о чем они тысячи раз уже болтали и после, и вместо школы, уже готово было сорваться с Дьюрькиных розовых детских уст.

– Предмета политологии в советских школах нет, – аккуратно начал Дьюрька. – Предмета экономики – тоже...

– Зато у нас есть предмет, который все это объединяет воедино! – встрял как назло Воздвиженский. – И этот предмет уникальный. У вас тут в Германии такого предмета нету. И называется этот предмет: о-бще-ство-ведение! – лекторским тоном вывел непрошенный апологет советского образования.

А на недоуменную просьбу журналиста Bayerischer Rundfunk разъяснить, что же это такой за удивительный, редкий предмет, который все собой заменяет, и что, конкретно, по этому предмету проходят, Воздвиженский, выкатив глаза, свел растопыренные кончики пальцев обеих рук между собой, раковиной, как будто заключая туда, как в клетку, весь мир, надул щеки и, казалось, уже весь раздуваясь от пропагандистского запала, прорек голосом популярного телевизионного диктора:

– Аллес! Им Комплекс!

После чего журналист быстро свернул манатки, поблагодарил деток и, весь перекосячившись из-за своей громадной кожаной сумки с радио-причиндалами, похожей на ящик старого шарманщика, суеверными шажками покинул гимназию.

– Ну что? Аллес им комплекс? – сорвал нам всё интервью! – дразнил Воздвиженского Дьюрька – когда они уже сели в гигантский, невиданных обтекаемых форм (как будто пластик и металл застывали во время его езды) туристический автобус, поданный вскоре к школе, чтобы везти их на обзорную экскурсию по Мюнхену. Автобус был страшно высоким, наделен был красивым, но ненужным им, отлетавшим при нажатии секретной кнопки, багажным крылом внизу, из-за чего казался двухэтажным; а при открытии дверей сказал: «псссссс-т». Кроме того, имел за пазухой, за авиационной дверкой, в салоне, чудесный маленький туалет-саркофаг.

Хэrr Кеекс, не сменивший с предыдущего дня ни наряда, ни бороды, караулил внутри автобуса, при входе, и резким жестом своих больших, угловатых, как у мужика-волжанина рук, всовывал каждому в кулак конверт со ста шестьюдесятью марками, неофициально выменянными на советские сто рублей.

Дьюрька взъелся на Воздвиженского всерьез. Поводом был теперь обменный курс.

Воздвиженский всё считал, что его обсчитали, а Дьюрька же наоборот долго, со ссылкой на никому не ведомые кроме него в автобусе заоблачные принципы золото-валютно-резервной зависимости, доказывал, что советский курс – грабительский по отношению к немцам – потому как фантомен, и вообще не существующ: потому что рубль не является и никогда не станет свободно-конвертируемой валютой.

– Вот возьми рубль и положи в конверт! Вот и будет тебе конвертируемость! – куражился над ним Воздвиженский, – поскорее укладывая, тем не менее, согнутый вдвое конверт с марками во внутренний карман собственной куртки.

– Рубль – пустой! – ораторствовал Дьюрька на весь автобус, расходясь всё больше. – Надо же смотреть на реальную покупательную способность!

– Ну и хорошо. Нам же лучше. Значит, выгодно поменяли, – хохотнул Воздвиженский и засел рядом со «своим» немцем – тихим домашним Ксавой, мальчиком младше Катарины на класс, с чуть припухшими чертами лица и кучерявой прической, – тот увязался на экскурсию, чтобы прогулять школу, и большую часть времени молчал. Воздвиженский же моментально извлек из кармана куртки калькулятор («Куркулятор» – как тут же обозвал его, уже успокоившись, и добродушно смеясь, Дьюрька) и принялся судорожно вычислять разницу каких-то сумм в рублях и марках в случае оптовых закупок в Мюнхене каких-то дискет для компьютера, уточнял у Ксавы цены, снова пересчитывал, и спрашивал, когда же они пойдут с Ксавиным отцом в компьютерный магазин.

Сидя с Аней и вытирая бумажной салфеткой (Марга всунула вместе с яблоками ментолом пахшую пачечку на липучке – тоже казавшуюся диковинкой: они с Аней обнюхали ее со всех сторон, после чего сдержанная Аня сдерживалась-сдерживалась – да и чихнула от мяты – и попросила ей выдать для носа салфеточку из той же пачки) разводы груши с пальцев, Елена с брезгливым обморочным вниманием слушала спиной всю эту цифирь, безостановочно шелкавшую в мозгу, на пальцах и на языке у Воздвиженского.

Грушу она поглотила по Аниной, яблочной, методе.

– А где пимпочка, подруга? – вдруг обернувшись к ней от окна, строго спросила Аня, одержимая идеей, что никто никогда не должен нигде мусорить, и вообще нарушать никакие правила, и заподозрившая Елену в страшном – что крошечный черенок от груши упал где-нибудь на пол в автобусе.

– Тебе ли меня попрекать сожранной пимпочкой, Аня!

Экскурсовод, огромный соломенный детина, в пятнистой от пота белой рубаше с коротким рукавом, едва помещавшийся обеими половинками зада на двух передних сидениях, и поэтому поминутно вскакивавший и застревавший между креслами в проходе, страстно и слюняво мусоля оладьями губ радиомикрофон без повода, вдруг, явно желая подмахнуть гостям из СССР, выплюнул:

– А вы знаете, дорогие мои, что, между прочим, у нас в Мюнхене тоже была советская республика – и просуществовала она, между прочим, целых два месяца!

– Нам бы ваши скорости, – жестко и громко, срывающимся на грубые нотки голосом, пресёк Дьюрька, сидевший позади него, гостеприимную сусальность.

Медленно проехали громаду олимпийского центра. Ни с чем хорошим олимпиады у Елены не ассоциировались: Гитлер и Рифеншталь, Афганская война, Брежнев и смерть ее любимой бабушки Глафиры – мнемонический ряд был строго таким. В олимпиадах ей вообще чудилась какая-то языческая недоразвитая гнусь. Болезненная физиологичность, выбор в пользу тела, против души и интеллекта. «Я сильнее!» – Ну и что? «Я быстрее!» – Ну и что?! Ни уму, ни сердцу, ни воображению, ни тем более возможности спасения твоей души «спортивность» твоя ничего не прибавляет – а на практике так, скорее даже, от всего это еще и отнимает! Христос же не случайно прямо сказал: «Дух – животворит; плоть – никакой не приносит пользы». Люди же, одержимые духом, который обычно принято называть «спортивным», у Елены всегда вызывали безусловную досадливую гадливость: то есть это те дебилы, которые радуются, что кто-то слабее их, и всю свою жизнь посвящают этой плебейской цели: кого-нибудь уложить на лопатки. Она была свято уверена, что желание кого-нибудь унижить или стремление физически победить проистекает только от страшных уродливых психических комплексов и от духовной слабости. Короче, бодрая спортивная смерть. Она даже с Эммой Эрдман отказалась в детстве наперегонки бегать, как только поняла, что обгоняет ее – зачем кого-то унижать? И Дьюрьку она любила тем сильнее, чем чаще он весело признавался, что на обязательных в школе уроках физкультуры всегда висит на канате «как сосиска» и не может подтянуться. А уж двое мужчин, интеллект, силу воли и духовную красоту которых она больше всего уважала из современных политиков – Сахаров и Темплеров – по олимпийским, фашист-

ским меркам вообще должны были бы быть давно дисквалифицированы навеки, и уничтожены как доходяги. «На свете нет даже двух одинаковых людей, – рассуждала она, – значит, нет и не может быть на земле критериев, по которым можно сравнивать, оценивать, заставлять «соревноваться», или присуждать победу. Тем более, на основании физических, животных, зоологических признаков! Это же стыд и позор! Вот же она – гнусная, плебейская суть любой диктатуры – торжествующая плоть, уничтожающая дух! «Я могу тебя убить!» – Ну и что?! Вечно будешь гореть в аду потом». «Дух олимпиад же, – рассуждала она, – начиная с языческой бесовской лжебожной этимологии и кончая языческой же самобожной физиологией, прямо ведь противоположен христианскому духу!» У экскурсовода, разумеется, на этот счет имелось свое мнение, и от Олюмпиа-центрума он был без ума. И Елена на автомате пропускала все его зупер-зупер мимо ушей.

Пока не наткнулась ухом на слово «теракт».

– Это какой теракт? Я ничего о нем никогда не слышала.

– Еще б ты о нем в совке слышала, – невнятно хихикнул с противоположного ряда Дьюрька, так и оставшийся сидеть прямо за экскурсоводом, и комментируя в голос его перлы.

– А когда это было? А? Дьюрька! Переспроси у него, пожалуйста, когда он сделает паузу! – шептала она Дьюрьке, ткнув его в бок, перегнувшись по диагонали через проход.

V

На Мариен-платц было все в цветах. Горячего копчения Новая Ратуша, которая, хоть убей, казалась Старой, испещрена была навесными горшками с непонятно с какого перепугу и в каких инкубаторах расцветшей алой геранью. По всей площади там и сям валялись огромные двухметровые бетонные гайки, клумбы-многогранники, вызывавшие легкое опасение, что сейчас их начнут закручивать адекватно гигантскими же инструментами – вместе с выпрыгивающими из них нарциссами, бархотками, и – в особом изобилии – Анютиными глазками. А в центре нескольких гаек, расставленных по линии ратуши, был уж и вовсе скандал: ярко-зеленые, постриженные под пуделя молоденькие деревьица, на шершавой коричневой анорексичной ножке.

– Лаврушка! – авторитетно уведомил Чернецов, зажевав целиком ламинированный лист и с мультяшной жадностью проглотив его.

И все-таки – странное дело – несмотря на раннюю жару, как будто бы был снег в подкорке у этого города. Казалось, копни клумбы поглубже – и наткнешься на обмороженные отложения.

– А какая это Мария? Какая-нибудь баварская кронпринцесса? – любопытствовал Дьюрька, обходя золотую статую посреди площади со всех сторон, наклоняясь, присаживаясь на корточки, переворачивая фотоаппарат в кожане боком, фотографируя под всевозможными углами, и ища табличку с датами жизни Богородицы.

У входа в долговязую Фрауэнкирхе (от рождения слегка хромую на левую ногу, уходящую в небо, а теперь, видимо, решившую хоть на время восстановить баланс – спрятав правую в гипс деревянных лесов) Елена, никому ничего не демонстрируя, но и ни от кого не прячась, осенила себя крестом – с радостной улыбкой, и ощущением, как будто бы вдруг посреди душного жаркого дня принимает душ.

Дьюрька, заметив, попунцовел и захихикал. А Анна Павловна быстро и нервно отвернулась, сделав вид, что ничего не видела.

Внутри, от входных дверей, Фрауэнкирхе выглядела как будто вся завешенная сушащимися рыболовными сетями: на две трети спущенными от потолка шнурами золотых люстр.

Елена, прищурившись, вновь и вновь ловила этот эффект, а потом побежала к алтарю.

Фигура Спасителя на распятии, в немецком исполнении, потрясала национальным умением наносить еврейским телам невероятные увечия: распятый труп был весь забрызган кро-

вью и испещрен пугающе правдоподобными, с детальным знанием патологоанатомии, крестными ранами, не совместимыми с жизнью.

– Какой ужас... – не выдержав зрелища, подошла к Елене шокированная Лаугард. – Мало того, что Его *там* мучали, – так еще и *здесь*... повесили... – и прикрыла растопыренными пальцами с узловатыми фалангами глаза.

Пышная, дорого разодетая, Мария со здоровяком-Младенцем на руках, как ее изображала приалтарная скульптура, скорее была (как уже и заподозрил Дьюрька) и правда похожа на сытую баварскую кронпринцессу с двойным подбородком, чем на бедную голодную экзальтированную еврейскую девочку, родившую в хлеву.

Воздвиженский, как-то траверзом, стараясь не разворачиваться и глядеть строго на алтарь, как будто он вообще никуда не идет, а так его просто случайно течением вынесло, подбрел к Елене.

– Не понял! – пробубнил он, не смотря на Елену – и выговаривая слова с таким вызовом, как будто его обсчитали в булочной. – Ее что, тоже... убили? – спросил он, кивнув головой в сторону другой скульптуры Марии – пронзенной кинжалом, – которая была выставлена за левой колоннадой.

– Ну, это просто чересчур буквально понятое предсказание одного ветхого старика, о том, что «оружие пройдет ей душу» – в смысле, что ее сердце будет сокрушенным.

– А-а... Ну ладно тогда. Ладушки... – с облегчением произнес Воздвиженский, и отплыл опять куда-то против часовой стрелки.

– Ужас. Ужас... – все никак не могла оторваться опять взглядом от поразившего ее распятия Лаугард. – Слушай, не понятно, почему рана под грудью – с правой стороны, а не слева, не у сердца?

– Честно говоря, Оленька, я подозреваю, что это проблема зеркального отражения: если ведь ты смотришь со своей стороны – рана слева. А с Его стороны никто и не заглядывает, – на ходу начала фантазировать Елена, пытаясь объяснить действительно непонятную подробность. – Знаешь, это, по-моему, проблема фото-негатива и проявленного позитива – возможно, чтобы воссоздать образ использовали ведь изображение туринской плащаницы – а там, как случайно выяснил один смешной фотограф-приколист, – как раз обратный негатив.

– Ну вот я и думаю! С чего бы они стали справа под ребра копьём тыкать... – страхнув оцепенение ужаса, луженым логичным голосом пригвоздила этот факт к воздуху Лаугард.

– Знаешь, между прочим, современные врачи говорят, что один из евангелистов, сам того не зная, и не будучи медиком, дал профессиональное медицинское свидетельство Его смерти на кресте – потому что написал, что когда солдаты, желая удостовериться, что Он мертв, пронзили Ему ребра копьём, то истекла «кровь и вода» – то есть околосердечная жидкость – а это могло произойти только в одном случае – если Он уже до этого умер от разрыва сердца – и околосердечная жидкость уже отстоялась.

– Так Он, что – от разрыва сердца, что ли, умер?! От инфаркта?! – переспрашивала потрясенная Лаугард, опять закрывая глаза обеими руками.

Елена с Ольгой Лаугард вместе опустили на ближайшую к алтарю лавку в правом ряду, и тут вдруг начали обрастать они со всех сторон забавным народцем – с правого бока, еле втиснувшись, как в рельсы, между лавками, пролезла длинноволосая каштановая толстуха с огромным туристическим рюкзаком, крупное, преувеличенное лицо которой было бы устрашающим, если бы беспрестанно не улыбалось; сзади, прямо за ними, подседа студентка с плоским, средневековым ликом с широкими челюстными костями, в берете и прямоугольных очках ученого и нотами на коленях; рядом с ней примостился в нули подстриженный строгий джентльмен, крепко державший за руку свою белокурую прямоносую супругу; а потом и еще человек тридцать в одинаковых цветных платках, повязанных вокруг шеи: быстрым шагом подошли с разных сторон и нанизались в ряды на банкетках. К ним лицом, впереди, перед лавочками

осталась стоять красавица-пацанка с черным каре и ранеными глазами, улыбающаяся как-то внутрь, сосредоточенно, отчего шел свет вокруг.

После секундной спевки по губной гармошке (которую достал из сумочки своей жены строгий стриженный джентльмен), резко, на всю мощность готической акустики, хористы запели:

Шалом хавэри м! Шалом хавэрим! Шалом – шалом! Л'итра'от! Л'итра'от! Шалом! Шалом!

– Стойте, стойте! Коллеги! Простите! – с мукой в голосе прервала их шеф-повар хора – брюнетка с каре. – Вы не могли бы все-таки постараться, как я вас уже и просила на репетиции, в начале слова «Хавэрим» петь не хаух-лаут, а ихь-лаут?! Сосредоточьтесь! Ну же! – и опять, поварив руками в воздухе, вымахнула:

Шалом хавэрим! Шалом хавэрим! Шалом! Шалом!

Визитеры церкви застыли в тех местах и позах, в которых их захватило пение.

Регентша раскачивала на пальцах еще не начавшуюся мелодию, – затем подала знак, и певицы с певцами грянули, уже гораздо более уверенно (так что эхо отскакивало обратно на них из-под хорды крыши): с джазовыми распевами юба-дуба – а потом и вовсе вскочив, раскачиваясь, пританцовывая, хлопая в ладони, отбивая ритм:

Хэвэн из а вандэфул плэйс! Филд витз глори, глори энд грэйс! Ай вонт то сии май Сэй-виэр'с фэйс! Хэвэн из а вандэфул плэйс! —

и припевая после каждой строфы хулиганскими низкими голосами неурочный речитатив: «Ай вонт ту гоу ту!», шелкая пальцами и дурачась.

Не вскакивал только молодой инвалид, только что подкативший по центральному проходу и достроивший себе свой собственный, личный, самый первый ряд, состоявший, собственно, только из одного места – его автоматической инвалидной коляски – прямо перед Ольгой: «Ой, какой хорошенький!» – не удержалась она. Понравившийся ей молодой человек был черняв, кудряв, весел, раскраснелся от быстрой езды, и все время зачесывал руками вверх кудри с висков, оборачивался, кокетничал, и оправлял джинсовую куртку с модно торчащим наружу мягким капюшоном. Разноцветный же галстук своей общины он эффектно повязал себе бантом под ворот, как дворцовый нашейный платок. Коляска обладала габаритными огнями, пультом управления под правой рукой, а позади его кресла был заткнута отдыхающая, сложившая крупные красные крылья птица-зонтик с оборками – как складки камзола пажа, вскочившего на заднюю подножку кареты.

Вдруг резко изменили жанр. Регентша, с просиявшим глазами, расставив напряженные пальцы обеих рук, и взяв их как огромные сосуды кверху, как будто ловя что-то невесомое и невидимое – наконец, поймав, кивнула своим друзьям.

Посерьезнев, встав стройно, и облачив вдруг лица в хоральную величественность, пять-секунд-назад-джазисты запели кратчайший псалом:

– Лаудатэ Дóминум! Лаудатэ Доминум!

Óмнэс джэнтэс! Халлелуйя!

А потом, взорвав общий хор, сначала инвалид со своей коляски, а потом – толстуха с первого (ставшего вторым) ряда (до этого растекавшаяся по банкетке по правую руку от Елены), вдруг, по очереди, прорезались пронзительными соло – тенором и сопрано – на французском. А регентша подхватила следующий круг вновь на латыни.

У Анны Павловны, застигнутой пением врасплох справа, у алтаря, как будто попала тушь в глаз, или запорхнула под веко ресничка – одна из ее коротеньких, тщательно покрашенных тушью ресниц, – классная закатила глаза к потолку, массируя и ставя отчаянные запятые у переносицы мизинцем, резко втянув носом воздух, и отклячив книзу подбородок.

Выходили из Фрауэнкирхе, сопровождаемые уже откровенно разбитной джазовкой:

– Оу, хаппи дэй! О-ха-ппи-дэй!

Ольга Лаугард громко вздохнула и, непонятно на кого оглядываясь внутрь, сказала: «Эх...»

Потом была рыжая Театинэр, изнутри вся как будто бы запудренная, припорошенная светлым пеплом – будто, некогда расписное, барокко попало под извержение водоемulsionного вулкана.

Четыре великих писателя, с собственными книгами в руках, казалось, ждали своего выступления на сцене – в алтарной части: у ног одного из них лежал, как домашний котенок, лев, благодарно, по-человечески, приложивший лапу к груди; второму прилаживался кучерявый орел; у третьего, поддерживаемого волом, увы, отсутствовал торс и вся левая сторона – сквозь него просвечивали стены, так что создавалось изумительное впечатление, что он, принарядившись в заалтарные туманы, прямо на глазах зримо проскальзывает в видимый мир из невидимого; четвертый же их друг, спонсируемый ангелом, уже явно успел ускользнуть в обратном направлении – и вместо него была поставлена символическая плоская, с едва намеченным его силуэтом, белоголовая заставка.

На фоне этих внушительных скульптур почему-то крошечным и скромным изображался их главный Источник Информации.

В каждую церковь Елена заходила как домой и, переступая порог, как будто сбрасывала снаружи какой-то огромный и ненужный рюкзак с плеч; и, с физическим облегчением, расправляла плечи и оказывалась у себя.

В каждый храм заходила, как на свою территорию, как на землю посольства единственной державы, гражданство которой она за собой признавала.

Радостно распахивала храмовые двери, как будто ее там ждали.

Внутри каждого храма – чувствуя, что с лица не сходит улыбка, и не желая, да и не будучи в состоянии ее прятать, испытывала радость узнавания знакомых, хотя и никогда не виданных прежде символов, видоизмененных – в сравнении с теми, что она знала по русским церквям, – но, безусловно, говоривших на понятном и родном ей языке.

И то и дело ловила на себе боковым зрением неизменный набученный взгляд Воздвиженского, с раздраженным интересом шпионившего за ней.

Перед входом в кирху Святого Духа Федя Чернецов собезьянничал и, с довольным видом, перекрестил лапкой мордочку, как кошка к гостям – и даже не хрюкнул – и ввел под свод целый очеловеченный зверинец – в одном собственном лице.

Колонны, стены, своды этой церкви невероятно нравились Елене тем, что создавали абсолютную иллюзию мая: все было как будто в гроздьях сирени, и даже упитанный голубь явно нес на крыльях этот майский лиловый отсвет: словом, все было, как на даче в Ужарово, под Москвой в ее день рождения. И даже вместо торжественных люстр были уютные потертые матерчатые бечевочные мягкие торшерчики с бумбончиками, – в точности – как на даче! – которые даже были спущены сверху, с недостижимых высот, почти да высоты нормальной обычной человечески мыслимой комнаты.

В левом заднем ряду кротко спал, посапывая, то ли турист, то ли бомж, то ли и то и другое сразу, по совместительству, – в черном вязаном пирожке и дутой куртке. Пирожок был так глухо надвинут на его лицо, а голова так радикально клюкалась вниз, на грудь, что его фигура смотрелась как старинный рыцарский барельеф: то ли мертв, то ли пьян после битвы. Каждый осмотрел его как достопримечательность. А когда вываливали наружу, перейдя этот майский сад насквозь, случайно гомоном разбудили экспонат: оказалось, что это добропорядочный согбенный старик, не могший распрямить голову, который ненароком прикорнул за молитвой. Тот тут же встал, и вышел вместе с ними. Такой же горбатой строчной немецкой буквой г.

Снаружи, прямо у церкви, обнаружился экспонат еще более потрясающий: на мостовой, спиной к церковной стене сидел престарелый бездомный ковбой в шляпе с красной лентой, а рядом с ним спал, положив морду ковбой на колени, любовно закутанный в клетчатое пальто

беспородный лохматый пес. Тут уже удержаться было невозможно, и Елена, стараясь не вызывать кантату, как можно тише, пропустив всех вперед, наклонившись как можно ниже, бросила одну из десяти, затесавшихся почему-то в ее, выданном Кеексом, конверте, железных марок – в предательски звонкую ковбойскую консервную банку – и когда распрямлялась, уже чувствовала, что сейчас будет скандал. Воздвиженский, моментально обернулся, привлеченный звоном монетки, и, как будто уже давно натуженно поджидая чего-то подобного, за что можно будет придраться, с тихой злобой сказал ей:

– Verrückt! – и, выкатив глаза, ускорил шаг.

А в следующем храме – Святого Петра – все главные герои в алтаре были такими смуглыми, как будто действие происходило как минимум в Мавритании или Эфиопии. А увидев маленькую темную избушку у правой стены со взволновавшей ее вывеской «Beichte» (значение которой она почему-то моментально поняла, хотя в школярском запасе слова и не было), Елена мучительно прикидывала, хватит ли у нее словарного запаса назвать по-немецки все свои грехи на исповеди.

Когда все побежали на колокольню этого самого апостола, она испытала странное внутреннее неудобство: залезать на храм, чтоб глазеть сверху на город. Бесконечные ступеньки были настолько узки, что она легко касалась сразу обоими локтями стен. Белые церковные стены, царапавшие по локтям, оставляя на ее малиновом джемпере меловую глазурь, были похожи на побеленные Глафирины куличики с цукатами, выставленные у нее под белым хлопковым полотенцем на столе. Было жарко. Елена остановилась, резким рывком стянула с себя синтетический джемпер через голову (просквозив через секундное чудовищное, наэлектризованное короткое замыкание волос и материи, так что казалось, что никогда она из этого душевного цветного коридора головой не вылезет), усмирила ладонями вставшие торчком волосы, и быстро закатала рукава рубашки по локоть.

Наверху, на открытой площадке, оказалось так ветрено, что когда кто-нибудь из них пытался разговаривать, казалось, что в рот ему, балуясь, какой-то хулиган вставляет невидимые пальцы, распирающие изнутри щеку. На город приходилось смотреть диковатым ракурсом – через решетку – в которую было забрано пространство со всех сторон света, а ветер, тем не менее, вырывался сквозь нее без всяких купюр.

Дьюрька отчаянно фотографировал Мюнхен сверху – изо всех сил высовывая руки в пазы клетки, и рискуя прикончить какого-нибудь зеваку внизу внезапно упавшим с неба фотоаппаратом.

Равнодушно поглазев на карликовые человечьи фигурки, рассыпями танцевавшие (медленно, с заевшим заводом) на Мариен-платц, и на валявшихся возле их же ног на асфальте, плашмя попадавших с крыш вниз их же приятелей, в черных костюмах, гораздо выше них ростом (гуталиновые, маркие тени), Елена обошла башню кругом и тут застыла: сизые горы на близком, супер-близком, горизонте, были настолько невероятны, что поначалу она их даже и не заметила: они казались большими сизыми кучевыми облаками.

Чиркая ладонью по шершавой рубиновой черепице крыш, взмывая как с трамплина ввысь с горящих от солнца церковных хребтов, скользя на скорости по звенящим как бритва шпильям, обжигаясь о снежные вершины и щупая пальцами горные складки, она с ликованием подумала: «Не обманулась! Снег, действительно – снег лежит в этом жарком городе, – и действительно, в самой подкорке!»

Резакова с Кудрявицким, а за ними и Воздвиженский с Ольгой Лаугард ушли внутрь (на убогую душную площадку ожидания со стругаными деревянными лавками), потому что снаружи им стало холодно. Потом сломалась и Аня, до последнего жадно пожиравшая, с Еленой бок о бок, горы глазами.

Наружу, гурьбой тяжело отжав качавшиеся со специальным возвратным ходом деревянные двери, которые из-за ветра было вдвойне сложно осилить, – вывалились быстро-быстро

говорливые (казалось – все время скороговоркой повторяющие одно и то же слово) шепелявые испанские школьники со слюнявыми, одинаковыми, пестрыми брекетами на зубах – которыми они, оскалившись, сверкали во все стороны.

Анна Павловна, едва справляясь с хулиганом, опять засунувшим ей пальцы за щеку (к счастью, на этот раз, это хотя бы был не Чернецов, а ветер), давась шквальным порывом и шатаясь в своем раздуваемом как парус плащике, обошла всех оставшихся на площадке, натужно умоляя спускаться вниз.

Елена поморщилась: вниз по ступенькам! Да еще и башня – так бесконечно здесь много их... Многоотомник ступенек!

На ближайшем пролете Чернецов с Кудрявицким раскурочивали прозрачный аппарат, с крутящейся, как в шарманке, ручкой, обещавший отпечатать на решке опускаемой одномарковой монетки эмблему – вид «Старого Петра» – но, поскольку монетки у них не было, решили сразу достать горстями из автомата и то, и другое. Анна Павловна завела хай.

Воздвиженский дождался Елену в следующем пролете и, то ли с наглостью, то ли с самоиронией, с вызывающей нарочито идиотско-поверхностной интонацией поинтересовался:

– Ну? Как тебе понравился... видок?

И испуганно посторонился, когда она мрачно и молча прошла мимо.

Скача вниз, чувствуя себя снова абсолютно несчастной из-за этого предстоящего длинного спуска, и из-за извращенческого группового свального способа гульбы по городу, и из-за всего недосмотренного, недочувствованного, недопеченного – что никаким иным способом нельзя досмотреть, дочувствовать и пропечь, кроме как с городом тет-а-тет, – Елена рассерженно бормотала себе под нос, ставя слова в ритме собственного бега по деревянным ступенькам, насильно приковывая свое внимание к каждой:

от несказанных слов пахнет порохом от сказанных – побом тесно, как двум мелованным стенам трущимся друг о друга мысль о Боге белою мышью прошмыгнула в угол снов несвязанных хватит надолго прочесавшему золотом гриву города вам не видящим снов станет холодно опрокинув себя же на хорду жевать слоган

VI

Хэрра Кеекса, грозившегося встретить их на Мариен-платц «у ф «о» нтанчика», разумеется, на месте не оказалось.

Он покинул их сразу же, по выходе из экскурсионного автобуса, и понесся куда-то по своим делам, условившись о встрече через три часа, чтобы препроводить их на самую модную дискотеку в центре Мюнхена – куда вечером должны были съехаться все «их» немцы. На сердечнейшее предложение присоединиться к ним и погулять по городу, Хэрр Кеекс, мстительно-четко выговаривая каждый слог, объявил:

– Ни-ко-гда! – имея в виду, что ему «некогда», и спутав в своих точных, но перевернутых песочных часах мельчайшие русские крупы звуков.

И теперь вот куда-то действительно запропастился.

– Между прочим, я не с Кеексом живу: говорю вам на всякий случай, чтобы никто ничего не думал, и чтобы ни у кого не было никаких фантазий. А с очень интеллигентной милой дамой из гимназии, – на всякий случай тут же открестилась от сомнительного соседства Анна Павловна.

И зря.

– Ууу, моя хорошая, – полез к ней опять с объятьями и лобзаниями Чернецов, при виде которого она уже сразу срывалась на визг.

Через полчаса ожиданий, Анна Павловна отправилась в телефонный автомат звонить Хэрру Кеексу домой.

И, разумеется, как только классная скрылась за углом, глазастая Лаугард углядела Хэрра Кеекса: он в глубочайшей задумчивости шагал по другой стороне площади, забрасывая свои длинные ноги так высоко вперед, как будто бы с каждым шагом преодолевал какие-то одному ему видимые препятствия и барьерчики, расположенные, судя по взмахам, где-то на уровне колена; и крепко держал стопку книг под мышкой.

– Хэрр Кеекс! Хэрр Кеекс! – побежала за ним кучерявая Лаугард – поддерживая, правой рукой в черной кожаной перчатке, на бегу, чуть раздуваемую ветром черную юбку по колено, а левой – ловя улетающую прическу, а третьим глазом умудряясь поглядывать на эффектные – в ажурную фабричную кружевную дырочку с боковых вертикалей – кооперативные черные колготки над низенькими черными полусапожками – явно выбирая, как красивей ставить на бегу ноги. Но погруженный в свои, неведомые, мысли, вышагивающий, с незримыми препятствиями, Хэрр Кеекс не услышал и не увидел ее до того самого момента, пока она не дернула его за коричневый рукав.

– А где вы были? Я приходил час назад. Мы же договорились, русским языком: через два часа, чтобы у вас было время все осмотреть, – невозмутимо заокал Хэрр Кеекс. – Потом я зашел вот сюда в книжный. А все последнее время стоял ждал вас вон там – с той стороны от фигуры Марии – мы же условились: у золотой статуи!

– Жалко я фотоаппарат с башни из руки не выпустил на него! Или еще чего-нить потяжелее! – тихонько захихикал Дьюрька, одновременно делая многозначительные жесты возвращающейся, и гримасничающей в адрес спины рассеянного Хэрра, Анне Павловне. – Хотя... – Дьюрька, сощурия взгляд, измерил угол снаряда с невинно отступившей во второй ряд от площади башни Старого Петра, – ...эх, оттуда бы сюда все равно не долетело!

Немцы уже давно были на дискотеке в полном составе.

На входе пришлось втискиваться в арку с металлоискателем. И потом – еле отбились от сковородоголовых охранников, не упускавших шанса с пристрастием ощупать всякую входящую.

– Кошмар – как на границе прямо! – возмущался Дьюрька.

– Хуже, хуже! – заохала Лаугард, резко мотнув головой вниз, опрокинув кудрявую прическу, вздыбив, с изнанки, волосы руками, и вернувшись, после эквилибристского этого номера, как ни в чем не бывало, в вертикальное положение; затянула широкий черный пояс, скрашивавший чудовищно ширпотребный длинный советский свитер, и, скомкав губы, зачем-то очень сильно втянула щеки перед высоким вертикальным зеркалом, сделав неприступно-интересные глаза и выставив правое плечо вперед: замерла на секунду – видимо, осталась довольна зеркальным кадром – и побежала дальше.

Как только нырнули внутрь, что-то случилось с одеждой.

Дьюрькина белая парадная рубашка оказалась издевательски испачкана советской синькой.

– Дьюрька, что с твоей рубашкой? – спохватилась Елена.

– Ты на себя взгляни!

И действительно – и нитки на пуговицах ярко-желтой выпущенной из джинсов длинной сорочки Елены, и даже выпуклые бело-пепельного оттенка резиновые буквы, напоминавшие на ощупь наконечник карандаша с растрескавшимся ластиком – у нее на малиновом джемпере (которым она препоясалась, завязав рукава узлом на поясе – и который теперь тут же развязала и сняла с себя, чтобы полюбопытствовать синюшным эффектом); и полоски на кроссовках тоже; и даже мельчайшие пылинки на всей ее одежде – словом, всё, за что синьке можно было зацепиться, немедленно окрасилось в галлюциногенный фиолетовый цвет.

Кроме этого не видно было ничего – внутри было так темно, что даже отсветы от зеркалец мозаики на медленно вертевшихся под потолком ртутных планетах, попадая изредка на лицо, слепили, – зато звук был таким громким, что, казалось, сейчас перельется из ушей через край.

Дьюрька быстро нашел местечко в углу на черных квадратных пуфах неподалеку от барной стойки. И спокойно уселся, только слегка морщась от звука и затыкая себе уши.

Кто-то удушливо, со всхлипами, ритмично выдыхал из динамиков.

– Фигня какая! – вдруг с изумлением отняв руки от ушей, констатировал Дьюрька. – Это что ж он ей говорит? Что сегодня он ее хочет – а завтра уже не будет хотеть?! Это какая ж кретинка с ним после этого общаться-то будет?! Или это, может, я чего недопонял?

Они стали прислушиваться, комментируя идиотские слова песни, и уже давясь от хохота:

«Мое сердце болит, Мое тело горит, Мои руки трясутся...»

– Ясно. Тремор, короче, у него в руках. Так? Что там дальше?

«Ты знаешь – выбор так прост. Терять нам все равно нечего. Я тебя хочу. Сейчас».

– Вот, Дьюрька! Вот ключ ко всему произведению! Послушай: он говорит, что «не хочет звучать, как парень»!

– А он и не звучит как парень! Явный педик! – отрезал Дьюрька.

Композицию гоняли уже третий раз подряд.

Женская публика визжала в исступлении, едва заслышав одну и ту же заставку с гинекологическими стонами в начале.

– Постой-постой! Что там еще у него трясется? – заливался уже весь потный от хохота Дьюрька. – Нет-нет, ты подожди, не смейся, не затыкай уши, давай послушаем еще раз! – орал Дьюрька, когда песню завели, под визг публики, по четвертому разу. – Что значит: «We've got time to kill»?! Кого там эта парочка пришить собирается?! «Нам нечего терять»... А, ну раз терять им уже нечего, тогда понятно!

– А, вот, опять что-то смешное... «Do you know what it means, to be left this way»... – выхватывала Елена фразы из композиции и пыталась перевести (что было проще) – и уловить хоть какой-то смысл (что было гораздо труднее!).

– Ну понятно! – радостно комментировал Дьюрька. – Она его продинамила! Или, вернее, он его продинамил (он же педик! если верить ему, что он не хочет звучать как парень!). Короче – завели парня: у него уже руки трясутся – и бросили. Конечно, у него теперь голова бо-бо! Еще бы! – с уморительным цинизмом произносил целомудренный Дьюрька.

Елена страшно гордилась, что знает хотя бы начатки английского – но сейчас она скорее была бы готова дорого приплатить, чтобы наоборот перестать понимать вздохи, на плющающей громкости несущиеся из динамика, – потому что, по мере семантического разбора идиотских текстов с Дьюрькой на пуфиках, несказанное очарование («крутяк, диско, темнота, крутейшая западная музыка») – катастрофически развеивалось.

То ли от этого рябого мерцания, то ли от духоты – из-за все время выхлопывающего откуда-то удушливого, искусственного, голубишной фосфоресцирующего тумана, Елена почувствовала астматический спазм в бронхах.

Стараясь держаться бодро, Елена бросили Дьюрьку на пуфах, и пошла осматривать дискотеку, говоря себе, что надо радоваться, что это круто, что ей должно это нравиться, потому что в ее несчастной стране ничего этого нет. В дверях другого зала ее встретил Кудрявицкий.

– Пойдем чего-нибудь выпьем, – обняв ее, закричал Кудрявицкий ей в ухо, стараясь перервать грохот музыки.

Она быстро прошла мимо, в следующий зал, – где бабеч с луженой глоткой из динамиков уже в двадцатый раз предупреждала дружка: «ты знаешь, она немного опасна». А Кудрявицкий приплясал вдогонку, уже источая запах то ли приторного одеколona, то ли пунша.

Озираясь по сторонам, и пятась от активно вибрирующих человеческих сгустков, она врезалась спиной в Воздвиженского: и впервые со времени приезда в Мюнхен они неловко улыбнулись друг другу – не зная, куда себя девать посреди танцующих тел.

Двое незнакомых немецких парней («геи, кажется, – приставать не будут», – с надеждой успела подумать Елена, не успевая толком разглядеть слева и справа томную, извивающуюся,

сильно парфюмированную фиолетовость) схватили ее за руки и потащили в нижний, совсем темный, зал, на серый блестящий танцпол с тусклой подсветкой из пола – а втащив ее в движущуюся гущу, довольные, развернулись друг к дружке, и, игриво копируя жесты друг друга зеркалом, стали симметрично выбрасывать руки вверх, павианьи вибрируя в направлении друг друга бедрами. Из темной массы выскользнуло на секунду лицо Ольги Лаугард, плясавшей бок о бок с размашистой, тичиановских форм, гладковолосой немкой Ташей – своей партнершей по гимназии.

Заслышав очередной проигрыш, все немцы завизжали, и упали на пол, расселись в позе лотоса, и, орудуя коленями, как брюхоногие, быстро сгруппировались в круг, и под вступительные ударники начали синхронно хлопать то самих себя, то – своих соседей, то в ладоши, а то по ляжкам – с такой отвратительной слаженностью, как будто годами сидели и репетировали: *we will, we will rock you!* Кляц-кляц-кляц, стук-стук-стук, буб-бум-бум!

Мутировавшая аллеманда, – с ужасом догадалась Елена.

Синие ромашковые поля. Ромашка размноженной плоти с неприятной цикличностью отрывает самой себе лепестки, вращается, вибрирует, наращивает агрессивные акриловые ногти, сосредотачивается, вызревает – и вдруг атакует из тумана синьки радиоактивной тычинкой – бросок, – и Елена сама оказалась затянута на пол, в эту безумную ромашку: немка Таша вдруг обернулась и, цепко вдернула ее фиолетовым наручником своей толстой руки в экс-белой блузе.

Напротив уже сидела Лаугард. И тоже с остервенением колотила кого ни попадая в ладоши. Елена двигалась в этом кошмарном общем ритме, но одновременно четко наблюдала за собой как будто со стороны, абсолютно выйдя из тела, механически копируя одних и те же движения – и видела ромашку сверху. И подумала, что если есть неприятные опыты левитации, то один из них она как раз сейчас переживает.

Большой взрыв – и ромашка разлетелась тысячами распалённых синих миров.

В следующей музыкальной вертикали кто-то вновь тянул ее вглубь танцпола, и она уже не разбирала кто, а, наконец, рассмотрев мрак перед собой, обнаружила, что давно уже танцует совсем не с Ташей, а с анонимным крайне смазливый немцем со шнобелем и в очках.

Через два танца она перестала контролировать свое тело. Музыка была настолько громкой, что от проходящих сквозь все тело ударных волн звука ее начало мутить.

До безобразного смазливый немец, в не фосфоресцирующей, черной, рубашке с распахнутым воротом, томно уверял Елену, почему-то, что зовут его Моше, и, да, был он в очках, показавшихся надежно интеллигентскими. И, что, да-да, зовут Моше, ты не ослышалась, а родители родом из Тель-Авива, а работают в торгпредстве, а я здесь, в Мюнхене, в университете, а ты какую группу любишь? А я, когда закончу университет, буду певцом. Ну, скажи, скажи, какая твоя любимая группа? Ах, как ты старомодна! Мне это нравится. Я сочиняю стихи – на английском – и музыку! Депеш Мод – мой идол! Вот она – чистая классика! Они – мои гении! Я пишу под них! И – пользуясь предлогом, что Елена не расслышала название группы, – придвинулся уже совсем близко, танцуя с ней в ритм: Пойдем? У меня здесь квартира, совсем недалеко, на *Münchener Freiheit*! Знаешь, какая у меня дома классная музыка. Я супер. Хочешь попробовать? Пока не попробуешь ведь не узнаешь! Хочешь? Решайся! Здесь и сейчас! Дай мне свои руки! Ты будешь за рулем. Хочешь? Пойдем?

Своих ответов она уже не слышала, а только его бредовое, как в скверно суфлированных фильмах, и зачем-то с модными, как будто из музыкальной попсы позаимствованными, англоязычными вкраплениями, соло, вползающее в ее ухо вместе с кончиком его языка: Хочешь? Уже становится поздно. Ты знаешь, что я имею в виду. Ну, решайся! Это же так просто! Скажи мне «да», здесь и сейчас. Очки, по мере танца, с Моше куда-то отвяли, как бутафорская карнавальная мистификация. И без стекол его глаза выглядели раскосо-рысьими. И густые, очень густые темные ресницы, на уже запретную дистанцию приблизившиеся к ее глазам, как несы-

тые тычинки анемоны, сокращающиеся и вновь вспыхивающие вместе со всполохами света на танцполе, и опять уже мешающиеся с невероятной, взрывающей барабанные перепонки, музыкой: Хочешь? Да или нет? Скажи мне да. Скажи да. Now! Und gerade hier!

«Всё. Еще хоть децл цикуты в уши – и привет, Эльсинор», – пронеслось в голове у Елены, – и она сползла в полуобмороке из объятий Моше, плашмя на танпол.

– Да не бойся ты, пей, это вода, – наклонялся над ней, подставляя ей какой-то сомнительный бокал, Моше. И как только она поднялась, взял ее за талию, пытаясь куда-то умыкнуть.

Не говоря ни слова – грубо счищая с себя руки, высвобождаясь из тел вокруг, как от какого-то нароста, требухи, липучего мусора, отдирая себя от сросшейся ритмично циклирующей биомассы, удирая по ступенькам вверх, яростно сбрызгивая из глаз остатки ядовитой синьки на проползающих мимо зомби, Елена пыталась выяснить у недобитых дорогу: Как, пожалуйста? Как пройти через? То есть, инз?

– А ты иди поблуй – легче станет, – обыденным тоном сказал вдогонку Моше. – Иди, я тебя буду ждать.

Рэхтс, линкс, унд гэрадэаус – навирируя себя в грохоте по выцыганенной, как тайное старинное заклинание, у в меру бухой девицы, словестной карте, на лестнице.

И потом распахнув ногой дверь в туалет, и пробежав мимо умывальников, мельком заметила, что девушка в кожаной безрукавке рассыпала зубной порошок на краю красной раковины и, согнувшись в три погибели, вяло пытается его пропылесосить носом. «Нашла время зубы чистить, дура», – вскользь язвительно отметила про себя Елена – сама себе удивляясь, что еще вообще в состоянии хоть что-то замечать. Ворвалась в последнюю кабинку, заперлась на хлипкую защелку в этот крипт, склеп, скит, прикрыла глаза, чтобы не видеть скальной живописи на древке дверцы, и начала истошно молиться. И дискотечный сортир, с готическим граффити на стенах, стал, вероятно, самым экзотическим за всю историю цивилизации местом аварийного чтения «Отче наш».

Выйдя к умывальникам, где уже никого не было, и облив лицо холодной водой, – и зачем-то тщательно промыв левое ухо, – не вполне понимая, хватит у нее ли горючего вернуться на планету, где дают свежий воздух, заткнула уши – приложив ладони раковинками – в точности как они с Эммой Эрдман делали, сидя под кустом и счастливо писая, в тот благословенный, не учебный, день, во втором классе, когда хоронили Брежнева, а потом, уже дописав, и натянув портки, и разгуливая по улице, быстро-быстро прижимая ладони к ушам и тут же их отнимая, радостно добивались эффекта великолепного «уа-уа-уа» в тот момент, когда вся Москва пятнадцать минут по приказу траурно гудела – все заводы и фабрики и вообще все, кому было во что дудеть, – и так добежала, смотря строго в пол, до выхода из дискотеки.

Охранник, вросший плечами в металлоискатель, нацелился поставить ей фосфоресцирующую печать на правое запястье.

– Нет, спасибо, не надо, – суеверно отдернула она руку. – Я больше входить не буду. Я своих снаружи подожду.

Через пару минут на улицу выкатился разочарованный, зевающий во весь рот Дьюрька:

– Скукотень какая! И слишком громко: поговорить ни с кем толком невозможно! На, ты свою кофту рядом со мной забыла, – протянул ей Дьюрька скомканный малиновый джемпер.

Елена, чуть не плача, не в состоянии членораздельно объяснить, в чем дело, упала к нему на плечо.

VII

– Ум Готтс вуин! Я же тебе говорила: надо было вчера поесть как следует за завтраком! – причитала вокруг нее следующим, субботним, утром, Марга, с таким трагизмом на лице, как будто у нее как минимум – гангрена: когда Елена, выскочив из ванной, наскоро одевшись, бе-

жала по лестнице в кухню, и завернув штанины джинсов, пожаловалась немке на чудовищное раздражение на коже.

Голени действительно выглядели не лучшим образом: в том самом месте, где у пегасов обычно растут крылья, ноги смотрелись как вывернутые наизнанку унты, сделанные из ее же собственной кожи.

– Никаких разговоров: сейчас мы с тобой немедленно же едем в супермаркт, и ты мне покажешь, что для тебя купить из еды. Я уверена, что это авитаминоз.

Елена, втайне приписывавшая стигмы тлетворным дискотечным миазмам, тем не менее охотно согласилась, потому что в супермаркете еще никогда в жизни не была.

Усадив Елену рядом, в наконец-то починенную машину (пожарной масти доисторический жук с очень низко волочащимся пузом и забавным кургузым задком), и, едва отъехав за поворот от дома, со шkodливym прищуром закулив в окно сигарету, Марга, гордо сообщила, что везет ее в самый большой в округе продуктовый.

Промотав за окном игрушечные коробочки домиков, Маргин автомобиль неожиданно бодро влетел в зеленый пролесок.

И вдруг слева, прямо перед машиной выпрыгнул на шоссе кто-то большой и коричневый – Елена не успела даже понять, что происходит, как в дурном сне, – а Марга уже в абсолютном коматозе затормозила, выронив сигарету на штанину, и истошно заорала, – а грациозная молодая замшевая косуля, спешившая в свой зеленый супермаркет через дорогу, умиленно поглядев на них глянцевыми глазами, проскакала дальше, подбирая в прыжке копытца, как в замедленной съемке, складываясь на лету вдвое. А Елена подумала, что если бы еще и этого великолепного зверя сбили – она бы этого уже не выдержала.

Супермаркет, место благоговейного паломничества добрых домохозяек, возлежал в середине соседней глухомани, походил на ангар для летающих тарелок, и размером был таким, как будто только что сожрал три добрых футбольных поля.

– Ну, говори теперь: что ты хочешь есть! – требовала Марга, водя ее по бесконечным продуктовым рядам.

В Москве, в самом богатом гастрономе района, самым дефицитным товаром считались вонючие гнилые говяжьи кости, со случайно задержавшимися на них ошметками черной, с зеленцой, разлагающейся коровьей плоти: кости вывозились в специальной железной высоченной клетке-контейнере на кривых, все время запинаящихся колесиках, и отчаянно стучали по прутьям; запряжена в эту страшную колесницу была мужеобразная тетка с свирепым лицом в черно-кровавом (белом) фартуке. По гастроному быстро пробежал боевой клич: «Кости выбросили!» И на них набрасывалась голодной сварой уже пару часов поджидавшая очередь из как минимум двухсот страждущих – и не всем, далеко не всем, доставалось этого вонючего счастья.

– Ну? Что ты хотела бы сегодня на обед? – ласково допытывалась Марга.

Ася Тублина, ее московская соседка-ровесница, дочка военного, с пяти часов утра, до школы, стояла у закрытого магазина в очереди вместе со всей семьей, чтобы им досталось тройная порция молока, потому что из-за крайнего дефицита продавали уже давно только по поллитра в руки, – и Елена с Анастасией Савельевной всегда над такой бессонной прожорливостью смеялись.

– Пожалуйста, не стесняйся! Ну? – пыталась подбодрить ее Марга. – Хорошо, пойдем вперед, ты все посмотришь – и просто скажешь мне, что положить в тележку!

И тут Елена отважилась и назвала самое невероятное, самое любимое, самое волшебное, чего уж точно, на ее взгляд, быть не могло ни в одном магазине мира, тем более в марте:

– Грибы.

– Gut! – буднично сказала Марга, – но это ведь не всё. Ты должна что-то есть и завтра, и послезавтра. Что еще?

– Грибы! – уверенно повторила Елена, почувствовав сразу в носу неповторимый запах сказочных боровиков, по которые бегали с Анастасией Савельевной поздним летом: а когда найдешь первый, нужно было сразу кротко садиться на корточки, и, разбирая мох, аккуратно искать рядом второй, а потом, с визгом, здесь же – третий, и четвертый, и пятый.

От мясных рядов справа по борту, и от всей этой квадратуры километража жрачки тошнить начало не меньше, чем накануне от дискотеки. Измучившись от напряженного Маргиного допроса, Елена попросила извинения, и сказала, что выйдет на воздух.

На обратной дороге косую не встретили. Зато заехали на минуту в гости к Маргиному другу – врачу, пегому, с перекопанным лицом, коротконогую господину. «Только не говори ему, ладно?» – задышала на нее Марга перед входом в марганцовочного цвета трехэтажный докторский особняк, выразительно похлопывая себя по карману – как будто туда же, вслед за пачкой сигарет, она в состоянии была припрятать и свое амбре.

– Аллергия на холод, – поставил немедленно же диагноз доктор, опуская обратно парчину джинсов, и строго посмотрев при этом, почему-то, на Маргу.

– Да вы шутите? В Москве сейчас – минус пять. Здесь у вас жара, – перебила его Елена.

– Цыпки на руках бывают?

– О, этого хоть отбавляй! Каждую весну. Мне уже говорили об этой аллергии. Но так это же – там, в России, в холоде! – возразила Елена, с подозрением разглядывая начинавшие зудеть тыльные стороны ладоней и запястья.

– Ну, вот это то же самое. Холод к этому имеет только прикладное отношение. Спусковой крючок. Нервное. Чисто нервное. Смена климата. Обстановки. Реакция на окружающую среду. Весна. Стресс. Забудьте. И не волнуйтесь.

– Я же тебе говорила. Авитаминоз, – тут же подставила опять свой диагноз Марга, едва выйдя за дверь, и моментально всласть задымив.

На обед приехал Францл, – уса́тый, кудрявый, черноволосый, улыбчивый, но молчаливый, – муж Марги, которого Елена не видела со дня своего приезда – с того самого момента, когда он, весь в машинном масле, притаранил Маргу домой из аэропорта в смешном зеленом автомобильчике с длинным открытым багажником сзади и маленьким подъемным краном на нем.

– Это ему коллеги с работы машину подвезли – узнав, что наш автомобиль по дороге сломался, – довольно объяснила Катарина. – У него – своя фирма по трубам. Работает целыми днями!

«Сантехник, что ли?» – весело подумала Елена. И заключила, что в Германии, сантехникам, очевидно, живется неплохо.

Теперь Францл был дома почему-то в костюме и в галстук, топорщил черные усы, сидел в гостиной на краешке дивана, в какой-то принужденно прямой позе, держал перед собой «Зюддойче цайтунг», и не говорил Елене ни слова, как будто это не она, а он – иностранец, и только благопристойно покашливал.

Катарина мельтешила на пахшей горячим хлебом кухне, все время клеймила пальцы о противень в духовке, айкала, бесконечно надевала и снимала ватные варежки (страшно похоже по стилю на ее же тапочки, которые она подарила временно Елене).

– И это – вы называете «грибами»? – со смехом ткнула пальцем Елена в скукоженные белесые наструганные шампиньоны, негусто валявшиеся в томатной подливке в начинке вегетарианской пиццы. В некоторой панике Елена пыталась сообразить, как бы объяснить, что имела-то она в виду керосиновый привкус Глафириных лисичек, подосиновых и белых.

Катарина, слегка обидевшись, предложила подложить еще шампиньонов, раз этих мало – потому что Марга купила еще пять пакетов, таких же (они теперь коротали век в вечной мерзлоте рядом с кубиками для коктейля).

– Нет-нет-нет, ни в коем случае! – как можно любезнее улыбнулась Елена, и снисходительно подумала, что даже заграничному волшебству есть предел.

Во Франкфуртском эмигрантском издательстве, куда она, спохватившись, принялась названивать в субботу, выудив благоговейно из кармана магический сложенный ввосемь раз номер, криво накаляканый Темплеровым на обрывке странички, никто к телефону не подошел.

Объяснить Катарине, почему она собирается бросить ее и уехать на несколько дней во Франкфурт, оказалось невозможно.

– За книгами.

– Ну так дай мне список всех книг, которые тебе хотелось бы прочитать – я проверю, нет ли их в мюнхенских магазинах! – нервно подвздрагивая сжатыми губами и взлетая всеми своими птичками на лбу, просила Катарина.

Пришлось объяснять всю российскую кутерьму. Которую Катарина, кажется, не очень-то поняла, и в которую, кажется, не слишком-то и поверила, как в истории про покушение на Санта Клауса; и положительно решила, что от нее спешат отделаться.

– А кстати, можно мне посмотреть твои книги, там, в гостиной, и взять чего-нибудь почитать на ночь? – вспомнила Елена.

– А у нас книг нету. Где? – испуганно переспросила Катарина (одной рукой мягко отводящая Бэнни, на взгляд которого пицца была явно вполне сносной – он уже встал на задние лапы, втягивал носом, и мерно, на цыпочках, облокачиваясь передними на кухонный столик, перетанцовывал к цели, отчего сзади был похож на балерину, которую зачем-то укутали в слишком толстую рыжую шубу и башлык). А потом прыснула: – А-а-а, там! Да это ж видеокассеты, а не книги! Ну, то есть, если ты очень-очень хочешь что-нибудь почитать – то – есть, пара книг. Вон там, в туалете возле маминной спальни в корзинке лежат. Но только это – комиксы, картинки: Францл очень любит иногда! – и потом, чуть понизив голос, чтобы Францл в гостиной не услышал, доверительно сообщила: – Францл, кстати, не мой родной отец – а приемный. Они с мамой уже после моего рождения поженились. Но для меня он – как родной.

После обеда – чинного, священно-молчаливого, во время которого все смотрели на Елену с благоговейными розовыми улыбками, подкладывали, пододвигали, подсыпали, дотягиваясь до ее тарелки через овальный розовато-палевый полированный стол (казавшийся – из-за криво нарезанной и уже дольками подъеденной гулливерской пиццы в центре на круглой доске – нездорово растянутым, деформированным, растекшимся циферблатом часов – где Марга сидела пополудни; Катарина – на очень выпуклых трех часах; Францл, прижимаясь к Марге – ютился на пол-одиннадцатого; а сама Елена занимала уверенную позицию файф-о-клок, и все никак не могла дожждаться, когда же хоть чья-нибудь секундная вилка пробьет, наконец, время вставать из-за стола) – Катарина позвала Елену в гости к своему другу Мартину.

Через несколько часов должно было нагреться мероприятие под загадочным названием «фондю и фламбэ» – дома у Аниных немцев.

– А пока можно повеселиться у Мартина: у него родителей сегодня дома нет! – как-то флиртливо подмигнула ей Катарина – Туда сейчас еще пару друзей подъедут!

Памятуя вчерашнее веселье на дискотеке, Елена готовилась уже к самому худшему. «Если Мартин в школьном автобусе ее при всех целовал – то что же будет здесь?» – логически достраивала картину Елена.

Мартин встретил их на крыльце своего дома («на другом конце города» – как выразилась Катарина, – до которого идти пешком оказалось меньше пяти минут), протянул Елене, здороваясь, рептильи холодные пальцы, провел в комнату, где рядом с холщевым, цвета ненастного неба, диваном вокруг низенького вытянутого прямоугольного столика были уже расставлены три кресла, и в двух из них сидели: один блондинистый, непонятно по какому поводу гоготавший краснолицый оболтус Фридл и девушка Лило, с выбритым виском слева и крашенной в

зеленые и фиолетовые перья челкой, зачесанной на правый бок, с азартом и неподдельным пристальным интересом расковыривавшая коросту на правой бледной своей коленке.

– Ну, что?! Сыграем?! – с подозрительным азартом спросил вновь прибывших Мартин, потирая руки.

На столе вдруг оказалась – географическая карта (как показалось Елене) – и через секунду она с изумлением опознала в развернутой картонке плоское игровое поле для настольной игры из картонной коробки, в какую она последний (он же первый) раз играла в первом классе.

Мартин проявлял свой интеллект: сидя на диване рядом с Катариной, отреченно откинувшись, холодно, без всяких комментариев, сквозь ящеричные очки наблюдая шумную возню на поле остальных, – а потом вдруг, резким рывком наклоняясь к столу, педантично бросал кости в центр боевых действий, давал пендаля своим фишкам указательным ногтем и тоном философа коротко изрекал: «Дахин!»

Оболтусу Фридлу не везло. Он злился всё больше и больше.

Елена абсолютно не въезжала в смысл игры, механистично передвигая свои желтые фишки, и всё потихоньку пыталась выведать тайный резон всех этих телодвижений у расправившейся, наконец, с коростой Лило – но оказалось, что смысла никакого и нету – просто кто первым доберется всеми фишками до указанного (жирной зеленой стрелкой) кружка на плохо нарисованной горке – скача по воображаемым холмам и плоскогорьям, перемахивая через лежмя лежащие плоские заборчики, и избегая попадаться в нестрашно изображенные капканы, в которых, если влип, обязан был сидеть, пропуская шаг, пока все другие бутылообразные разноцветные фишки бодрой трусцой промахивали мимо, – и стараясь не суваться в засады с катапультами, которые отбрасывали тебя на несколько шагов обратно, откуда ты опять нудно начинал марш.

Мартин явно выигрывал.

Фридл не выдержал и, разозлившись, вскочил и перевернул все игровое поле, рассыпав пестрые фишки по сыровато-песочному ковро.

– Дашь ты мне пожрать чего-нибудь в конце концов, Мартин, или нет! Ради чего я к тебе сюда приперся через весь город! Я не могу сосредоточиться и играть на голодный желудок! Друг еще, называется!

– Цупф ди! Фридл! Как ты себя ведешь?! – зацыкали на него, впрочем, умиленно, девушки.

А Мартин, довольно посмеиваясь, ободряюще ударял Фридля крепким кулаком в плечо.

Елена всё с некоторой опаской ждала, когда же начнется веселье, но тут Катарина с вежливой улыбкой встала и чмокнула Мартина в щеку:

– Было очень хорошо, спасибо тебе большое, нам пора бежать!

В Аниной резиденции – вытянутом буквой Т двухэтажном просторном бежевом коттедже с ярко обведенными белой краской раздвижными стеклянными дверями, посреди еще нерасцветшего фруктового сада, на отлёте, в соседнем Грёбэнцэлле, где двумя днями раньше чуть не остался жить с незнакомой немецкой мадонной Чернецов, и куда теперь их с Катариной подкинула на машине Марга, – уже буйствовали страсти. Дьюрька успел наклюкаться домашней вишневым наливки (либерально выставленной на хирургического вида барном столике, с колесиками, хозяйкой дома – матерью Аниной подруги Ценци – полненькой розоволицей дамой с пластичными движениями; вместе с Добровольской они теперь в соседней комнате играли на пианино раннего Моцарта – в четыре руки, на перегонки, звучно наступая друг другу на пятки) и учинил дебош: вместе с Ольгой Лаугард и Руковой затеял перевод советского гимна на немецкий язык, с корявыми строфами, жуткими ошибками и белыми рифмами.

Когда Елена и Катарина вошли в дом, Дьюрька (заглушая фортепьянные потуги зальцбургского повесы, некогда безуспешно пытавшегося выдать на гора хоть одну приличную фугу) бравурно распевал на знакомый до боли в зубах советский мотив гимна:

Зиг хайль, у-у-у-у-нзэр фа-а-терланд!

Первый куплет, повторенный специально для Елены на бис, звучал у него так:

Union unzerstörbare der Freiheitrepublik'n Hat Russland verbunden im siebzehnten Jahr! Es lebe, geschaffen vom Willen der Völker, Die Einheit und Stärke der Sowjetunion

Дальнейшее пение, впрочем, звучало, при Дьюрькином переводе, еще матернее:

Sieg heil, unser Vaterland! Unser Freiheitsstaat! Freundschaft der Völker ein richtiger Grund! Gibt es aber noch eine Kraft Lenins Partei ist das Die zu einer neuen Gesellschaft uns führt!

Словом, все встают под гимн – и быют Дьюрьку по морде. Нет, конечно, никто с места не двинулся, все остались сидеть.

Дальше шла уж и вовсе похабелъ, строго по тексту.

Дьюрька довольно раскланивался перед хохотавшими одноклассниками.

– Фашизм какой-то! – охнула в сердцах не догнавшая особого Дьюрькиного юмора Таша, дослушавшая гимн до конца, внимательно наклонив голову, и все прямее натягивая растопыренными пальцами концы своих жестких блестящих волос с обеих сторон длинного каре. А потом встряхнув головой, разметав локоны, выпрямилась, и взбив пальцами скрещенных рук волосы на затылке, смерила Дьюрьку волоокими черными глазищами: – Это все равно, что у нас в Германии спеть гимн «Deutschland, Deutschland über alles»! Или нацистский марш! У нас бы за такое на три года по закону сразу в тюрьму посадили!

Дьюрька, последний человек во вселенной, кого можно было заподозрить в советской диктаторской и колониаторской агитации, раскрасневшись, только хохотал, довольный, что устроил провокацию.

– А то с ними скучно! – подойдя к Елене, буянил Дьюрька. – Мой Густл сейчас, например, со мной в настольные игры играл! Ты не поверишь, Ленка! Разложил картонку на столе – и давай хрюпать! Ходы, фишки, кости! Детский сад! Я даже сосредоточиться поначалу не мог и понять смысл игры – из-за полной, абсолютной плоскости! Равнинные игры фрицев!

– Не может быть! Мне кажется, ты просто клеветешь на добрых людей, Дьюрька! – потешалась над очаровательно пьяненьким, дебоширившим другом Елена.

Сладкое фондю было вместо шарад. И большинство из них разгадывать оказалось бесполезно – потому что разгадок в памяти не содержалось: манго, стар-фрукты, физалис, киви. Ценци ловко накалывала нарезанные кусочки фруктов из безразмерной салатницы на специальные деревянные шпажки с занозами, окунала в серебряные лохани с горячим белым или черным шоколадом и приглашала гостей отведать и угадать на вкус, что это.

– А вот это попробуй! – стонала Аня. – И вот, вот этот кусочек – кажется, это именно то, что я распробовала. Похоже на персик, но не он! Только макни не в черный шоколад, а в белый! Божественно!

– Это – нектарин! – подсказывала, радуясь, рот до ушей, маленькая, большелобая и умопомрачительно прыщавая Ценци.

Кудрявицкий, впрочем, выжирал шоколад прямо из специальных серебряных прудов, – эффективно работая, вместо всех этих хитростей, черпаком витой чайной ложечки с эмблемой Мюнхена на расплюсненном кончике.

Чернецов в другом конце комнаты изводил Добровольскую:

– Нет, не понимаю я, Добровольская! Ну что ты нашла в этом пустоголовом венском фигляре с буклями? А? – ревниво очернял он ее музыкального идола. – Сплошные бравурные трели! Очень уж он сладенький! Хрюй! Никакой драмы! Я, например, Шуберта га-а-а-раздо больше люблю!

И, нацелив на Добровольскую, как пулемет, свою гитару, варварски забринькал шубертовскую серенаду, добавляя щедрый аккомпанемент, блюмкая губами и языком:

– Блюм-блюм-блюм– Блюм-блюм-блюм-блюм!

Загонял Добровольскую по углам дома, и чуть не довел меломанку до слез.

Дебелая Таша, чтобы отвлечь гостей от недобрых шуток, затеяла песни за длинным высоким столом под расплюснутыми металлическими абажурами: усадила всех вокруг на насесты барных стульев – и опять пошла немецкая развлекауха с групповыми жестами.

Пели слезливую историю про маленького моряка, который любил девушку, но не имел при этом денег, что не помешало, однако, прохвосту объехать кругом весь мир, и кататься на корабле, пока девушка не умерла, и чья же в том была вина? – и всё по кругу начиналось снова-здорово, как заведенная пластинка.

Лаугард была в восторге – уже со второго круга ей удалось стать ассом игры: на каждом завитке выпускалось одно слово, все замолкали, как будто ставя запись на паузу, и заменяли это слово пантомимными жестами: вместо «девушки» двумя руками вырисовывали в воздухе сомнительно фигуристое существо, вместо матроса – салютовали к фуражке, а потом аккуратно вырисовывали в эфире указательным пальцем шарик, который он объехал, а в тот момент, когда девушка умирала – двумя перекрещенными руками изображали перекладины кладбищенского креста и уныло развешивали губы.

И так, с каждым кругом вырезая еще и еще одно слово, доходили до абсолютно молчаливой песни с выразительными жестами и артиклями, отстукивая ритм кулаками по столу. А потом стартовали заново, набело, с интонацией уже заезженной, шарманочной – потому что обязательно кто-нибудь под конец сбивался и под общий хохот выпиликивал какое-нибудь запретное словечко: «Айн кляйнэр матрозэ...»

А закосевший от наливки Дьюрька всё не вовремя приставлял ладонь ко лбу и отдавал честь – когда речь шла вовсе не о матросе, а о девушке, и сбивал всех с панталыку, и Таша опять волооко тарасилась на него, и всё хватала Дьюрьку властной пухленькой ручкой, поправляя его жесты, и показывая, как надо, и шурилась, прикусывая себе нижнюю губу, и ерошила прямые волосы.

И потом, когда Ценци вдруг разом погасила весь свет в доме, уже в крошечной темноте, поминали петуха, который умер – про этого неизвестного бедолагу песенку заводила высокеньким старательным голоском Катарина: «Он больше не кричит: ко-ко-ди, ко-ко-да!»

А Лаугард, не расслышав фразу «der Hahn ist tot», наклонилась к Елене, обдавая ее терпкими парами вишневой табуретовки, и переспросила напряженным буратиновым голосом:

– Это какой Йоханес «ист тот»? Я чёт не поняла.

Мать Ценци внесла в гостиную горящее и несгорающее мороженое, и зажгла крошечные чайные свечи в металлических челнах, плававшие теперь по всему дому в мисках с водой, по две, а то и по три, чокаясь боками; запахнула стеклянные двери в сад, где на дорожках вскоре полыхнули в руках терракотовых гномов маленькие факелы, которые она подпалила, оббегая их и плавно наклоняясь к каждому, с огнивом в руках, как в танце.

Чернецов рванул в сад искать мухоморов на закуску.

И тут только Елена заметила, что в этой компании, к которой уже даже слегка привыкла за последние дни, и которая уже даже не так сильно коробила, отсутствует набученный взгляд Воздвиженского, который к Ценци почему-то так и не явился.

Ночью, уронив себя в бабл-гамовое суфле в ванной, Елена опять в изнеможении подумала, что каждый день у нее – как тысяча лет, и что какой же это несносный для нее труд – жить в этом странном мире, со странными людьми. И что каждый день с утра она идет, как на вершину, и как будто тащит непосильный, только ей доверенный груз. И редко, очень редко случаются безветренные лощины – затишье – а потом опять и опять ураган. И едва хватает сил дотянуть до вечера. А новая реальность все пёрла и пёрла.

И – одновременно с этим внутренним стоном – выросло в ней, вдруг, вмиг, благоговейное, благодарное, захолиновавшее дыхание чувство, что она, конечно, может быть, и участвует в этой жизни, но она же, одновременно, в каком-то неизмеримом измерении – и как зачарованный зритель: и всё, что с ней происходит сейчас, все образы, которые мимо нее проводятся, даже те, что ее невероятно мучат – всё это – как будто мысли, существовавшие раньше, но только в безвоздушном, бестелесном пространстве – и которым теперь кто-то милостиво дозволяет на ее глазах раскручиваться, и облекаться в физическую форму.

VIII

На следующее утро, открыв глаза, она обнаружила на тумбочке вместо уже привычной ненавистой совиной рожи ярко-оранжевую литровую прозрачную бутылочку – Марга ухитрилась, пока она спала, принести ей свежесжатый апельсиновый сок, с мякотью – против авитаминоза. Приложившись к бутылочке (откупорив тут же, не вылезая из постели – с приятнейшим кликом), она поняла, что никогда и ничего на этом свете более лакомого не вкушала.

– Вос из? – возмутился из своего тюремного дворца Куки – когда через четверть часа Елена принесла вниз Марге в кухню абсолютно пустую прозрачную тару.

А Марга не верила своим глазам, счастливая как ребенок, что наконец-то хоть чем-то гостье потрафила. Из холодильника была извлечена свеженькая непотчатая бутылка.

– Ооррошэн-сафт! – аппетитно протянула из-за стола Катарина, пожиравшая на скорости свои мюсли.

– Как-как ты это произносишь? – в восторге переспросила Елена. Для которой теперь это название звучало музыкой.

И с каким-то то ли мамашиним южным, то ли с квази-французским, наполеоновским, прононсом Катарина еще раз одобрительно повторила:

– Оорррошэн!

И от этого ледяная оранжевая лава становилась еще вкуснее.

Эту литровую порцию Елена выдула тут же, при Марге с Катариной.

Марга хохотала, но в то же время говорила, что это доказательство ее медицинской теории:

– Организм требует витаминов! – и выразительно посматривала на дочку, явно намекая той, что, мол, и с ее, Маргиной, сигаретной слабостью можно было бы быть погуманней.

Организм требовал соку так много, что Елене была выдана еще одна бутылочка – с собой, в поездку на таинственный «Женский» остров – в монастырь, куда они отправлялись сегодня же, в воскресенье, всей (и женской, и мужской, и баварско-русско-еврейской) компанией – поездку, для которой пришлось вскакивать на рассвете – так что даже любимое развлечение – прогулку с уже вертевшимся веретеном Бэнни – Катарина оставила на Маргу.

Пока они с Катариной бежали ко станции – откуда должен был забрать их уже знакомый крылатый пулеобразный симпатичный автобус, Елена, запыхавшись, спросила ее:

– А как звучит «Отче наш» на немецком? Нас никогда не учили...

– А зачем тебе?! – изумилась Катарина и остановилась.

А потом сбиваясь, и начиная снова, и опять сбиваясь, и по-детски растерянно улыбаясь, и попыхивая, злясь на себя, когда ошибалась, и морщась, как будто ей в лицо брызгали очищаемыми апельсиновыми корками, Катарина все-таки прочла молитву, на бегу, целиком.

В середине автобуса уже сидел Воздвиженский и, сердито посверкивая очками, гугнил как громкоговоритель:

– Лучше было бы сходить в Хофбройхаус пивка попить. Нафига тратить весь день на эту поездку! Одна дорога туда-обратно займет часа четыре! Весь день терять! Это мы сейчас доедем туда только в...

Проходя мимо него, Елена вдруг вспомнила, как удивительно он похож, когда без очков, на Вергилия – в мраморной версии, с отбитым носом (безупречно восстановленном сейчас – в версии Воздвиженского), с припухшими губами, Вергилиевым подбородком и нежной ключицей, из неаполитанского склепа древнего пиита.

И, решив проверить, не оптический ли это обман ее памяти, Елена остановилась, и в приказном тоне сказала:

– Воздвиженский, сними, пожалуйста, очки на секундочку.

Воздвиженский, с округлившимися глазами, уже готов был загундеть снова, но все-таки послушно очки снял. А Елена, удобно оперев колено на сидение, нагнулась, и еще через секунду опять уже удивлялась тому, какие же молочные на вкус у него губы.

С изумившей ее опять саму ясностью она вновь подумала в первую же секунду, целуя его: «Ну уж нет. Этого молочного щенка я миру не отдам. Он будет таким, как я хочу».

– А мы вчера с Ксавой и его родителями в компьютерный магазин в Мюнхен ездили. И поэтому я на фондю не пришел... – обмякшим голосом выговорил, как какое-то защитное заклинание, не зная что сказать, и все еще держа очки в руках, Воздвиженский, когда она перелезла через его колени и усаживалась к окну.

Бедный Ксава, вошедший в автобус сразу после нее, протиснулся мимо и, виновато улыбаясь, поплелся на заднее сидение, смекнув, что с Воздвиженским ему сегодня не сидеть.

Катарина удобно осела с Ценци на первом ряду.

Анна Павловна делала вид, что задней части автобуса вообще не существует, и что у нее болит шея и назад поворачиваться она физически не может – торчала рядом с передней дверью, массируя затылок и смотрела строго вперед, ведя громкую болтовню с водителем.

А на Аню Елена уже даже боялась и посмотреть – понимая, что любимая подруга скорее всего после этого с ней вообще всю жизнь не станет разговаривать.

– Ходить в Хофбройхаус, – спокойно заявила соседу Елена, расправляя воротник его рубашки (и убеждаясь, что сходство с юным Вергилием действительно поразительное), – это все равно, что придя в прекрасный музей, отправиться на экскурсию в подвал в вонючую storozhku, выяснять, где там в прошлом году водились клопы!

И очков Воздвиженский так и не смог надеть, пока автобус не тронулся. Да и когда поехали – тоже.

– Ну что, слишком долгая дорога была, да? – осведомилась она у Воздвиженского, когда автобус уже припарковался у пристани Прин на Кимзее, рядом с потешной, как будто бы детской, крошечной, как из фанеры сделанной, железной дорогой.

А у самой, когда выпрыгивала из автобуса на провернувшийся гравий, в голове опять пронеслось: и один день – как тысяча лет.

Прямо под крыло автобуса как раз пристроился низенький зеленый паровозик, и вылезали из него, согнувшись, неловкими клячами туристы.

Рядом с парковкой почему-то одиноко валялась кабинка канатного подъемника – как будто сорванная диким порывом ветра откуда-то с гор.

Огляделась – и ахнула: а горы то – вот они! Всплывают из-за озера, как гигантские синие киты! А само Кимзее, дивное, неохватное, от ветра играет так, как будто переполнено тысячами тысяч форелей, сияющих акварельной чешуей на солнце, резвящихся под защитой этих синих кашалотов.

То ли спертый влажный воздух был тому виной, то ли тихо изумляющийся сам себе вид, – но до пристани все дошагали в глубоком молчании, словно каждый вяк натыкался на хук с гор, с той стороны озера.

Деревянные балки и столбы пристани бултыхались в нереально синей воде с бутылочным плеском.

Двое усатых, невероятно одинаковых, высоких черных матросов, чем-то смахивающих на Маргиного супруга, только бойкие, шумные, здоровяки, здоровавшиеся за руку и шутившие с каждым пассажиром, – так прокурили до этого, ожидая, когда подвалит спозаранку народ, весь салон, что каждый из ступавших на борт, внутрь, кашляя, пробегал – мимо малахитово-венозных пластиковых столиков с домашними мещанскими деревянными стульями с пестрой обивкой, как в советских кооперативных кафе, и уездными пестрыми торшерчиками, зачем-то расточительно горящими этим ярким утром, и бело-синими флажками – наружу, на заднюю открытую палубу с банкетками. Где стоять хотелось совсем одной. И куда набились все ужасно, и мешали вздохнуть, оря, внезапно сорвав запись с паузы, повиснув на всех вертикальных и горизонтальных плоскостях, выкидывая все доступные коленца (Чернецов – так сам себя за борт, в последний момент бесцеремонно схваченный за шкурку и втянутый обратно Анной Павловной).

Сосновые сваи, торчавшие, совсем близко, из воды, с которых шмацающий борт корабля стесал изрядное количество подгнившей трухи, открывали внутри пахучую, неожиданно свежую, желтоватую кочерыжку.

И из такого же материала явно были сделаны таинственные эллинги, поодаль на берегу.

Черноволосые матросы нетерпеливо ждали, пока корабль заполнится всеми приехавшими на фанерных паровозиках: прихватывали бодрых загорелых бабульков, недовольно демонстрировавших, что они и сами кого угодно под локоток подымут; подталкивали добропорядочных моржовых мужей, помогая им спотыкаться на деревянном мостике, перекинутом с корабля на бал; салютовали их лучшим половинам; и вносили за разнообразные конечности на борт их макаковых детей. В чуть проветрившемся салоне публика расселась за столиками под флажки и с шумом разворачивала жвачки, конфеты и младенцев.

Когда гнилая пристань принялась отгребать от них в сторону, Анюта, от которой Елена ожидала бойкота до гробовой доски, напротив, прорвалась к ней, наконец, через всю чужую и свою кучу малу, и тихим голосом, как будто доверяет личную тайну, протараторила:

– Ты смотри, смотри, твари, что они делают! – и хитрым глазом указала куда-то за борт.

Ласточки в пронзительно синих купальных костюмчиках, окружили корабль, взяли его в кольцо, и сёрфинговали на воздухе в миллиметре от воды, чиркая по невидимому полю натяжения, как бы на сумасшедшей скорости смахивая ладонью со скатерти водной глади крошки, и устраивая крыльями вентилятор за пределами близко к поверхности, отчего шла рябь, чеканившая чешуйки волн, – но ни разу и ни одна из них до самой воды не дотронулась, и в само озеро пера не обмакнула, – со щенячьим визгом щеголяя перед друг другом и неофитами-зрителями особой небесной удалью.

– Смотри, смотри, как они выпендриваются! Это они нарочно, твари! – ласково приговаривала Аня, оглаживая их взглядом.

Углядев, что не все еще полости корабля обжиты, Елена, с воплем: «Анюта, как же я тебя люблю!» – и в этих же словах признаваясь в любви и стилям-ласточкам, и неведомому и невидимому еще, но уже долгожданному монашескому острову, и расправлявшим плечи после секундного смущения встречи, встающим во весь рост сизеющим горам, своими хребтами с щедрой кондитерской присыпкой отгораживавшим их от мира, – уже тащила подругу под руку сквозь неинтересные, шумные, знакомые и незнакомые, горячие и чуть теплые, сгустки тел – в сердцевину корабля, и поднырнув под руку курчавому матросу, державшемуся за косяк в проходе, просияла:

– Можно? – и пальцем показала вверх.

– Я не хочу скандалов! – лепетала ей на ухо Аня, в застенчивом воображении которой любое эстетическое наслаждение (взамен привычному покорному страданию от общественных неурядиц и тупости) было непозволительной бузой, скандалом и наглостью. – Подруга, если ты не перестанешь немедленно безобразничать и качать права, я сейчас же развернусь и уйду! –

клялась она с самым достоверным видом. Хотя разворачиваться и уходить в толпе было некуда, а по воде чересчур кроткая Аня все равно убежать бы не посмела.

– Ну, если вы действительно туда хотите...

И озерной моряк уже передергивал слишком густо покрашенную и упиравшуюся, но все-таки шедшую в нужную сторону щеколду невысокой белой металлической проржавевшей на решке дверцы; и Елена уже втаскивала, впихивала, Анюту, щекотя, по рифленным железным ступенькам на верхнюю, самую верхнюю палубу, где выла, звенела от ветра и сияла иллюминация, нервом натянутая через весь корпус с носа до кормы; и откуда разом из двух вывернувшихся вдруг наизнанку карманов джинсов озеро выскальзывало миллионом золотых монет, и опрокидывалось в лобовое стекло очутившейся с ними лоб в лоб капитанской кабины, внутри которой гривастый седовласый морской волк с уместным самодовольством принимал подношения от по уши влюбленной в него миленькой буфетчицы, с риском для жизни приволокшей снизу и не расплескавшей через давку, и теперь расставлявшей пульсирующие между ее пальчиками пластиковые стаканчики вместе с прэтцэлем на пластмассовом блюде перед приборной доской между рычажками; а капитан, наблюдая за ней, плевым жестом распахивал боковые окна, сквозь которые тут же беззастенчиво вырывался наружу запах сладкого кофе; и Аня, ликуя – раз в пятьсот преувеличенными – как у наркомана, вдруг вылезшего на свет из темноты – за линзами напыленных, зачем-то, на миг, для изучения какой-то печатной программки, для порядку, очков – черными зрачками – слизывала небо с блюдца озера, благоговейно припав мягким местом на низенькую оградку, и чуть не кувырнувшись от счастья и избытка отражений, задом, как аквалангист, за борт.

Набухшая темная туча людей, за которой они теперь наблюдали сверху, выпала в осадок на подвернувшемся по дороге неказистом большом «Мужском» острове, куда все стремились в какой-то дворец.

Ласточки по-прежнему резвились за кораблем.

– Ты смотри-т ка! Чернецов плывет! – ткнула вдруг Аня за борт пальцем на одиноко купавшегося впереди них, страшно неопрятного и явно не выпавшегося, с черным не расчесанным хохолком, обитателя озера.

Елена спрыгнула со ступенек к матросу – и принесла Ане обратно в клюве название птицы: *Naubentaucher*.

– А-а, ну правильно! Поганка! – довольно перевела Аня, вытаскивая из памяти бирочку из раздела «фауна» с подготовительных курсов института иностранных языков.

Наконец показался крошечный островок, вокруг которого летали, подражая ласточкам, колыбельки с надутыми ветром белоснежными треугольными пеленками, и было приятно воображать, что это – монашки рассекают под парусами лазоревую гладь в предмолитвенное время.

Приятно было и притягивать остров к кораблю за острый шпиль сахарной колокольной башни с нахлобученным на нее большим серо-ореховым угловатым шлемом (кликавшимся, скорее, с древними, не выжившими, соловейскими луковками, чем с мюнхенскими придворными храмами) и, стоя на верхней палубе, глядеть вниз: как матросы суетятся и сражаются с грязными жирными наглыми канатами.

Как только они с Аней спустились, ноги им страстно обцеловал черный французский бульдог, похожий на летучую мышь с красными глазами и огромными перепончатыми ушами, у которой отвалились крылья и отросли кривые ноги; бульдог был с янтарными бусами на шее и брелком («Наверное там адрес?» – шепнула Аня); пес часто и мелко дышал, нетерпеливо переминался с ноги на ногу и ждал своей очереди на выход, поддерживая бритого, бесстрастного, толстого и длинного, как колокольная, хозяина, послушно плетшегося за ним на поводке.

По обе стороны скрипящего и шатающегося деревянного пирса, в береговой щетине, невозмутимо вили себе гнезда камышницы.

А рядом с пристанью, у киоска со снедью, завидев гостей, селезень с блестящим носом экстренно приземлился, подняв лапами пыль при торможении, и принялся крикливо вымогать себе завтрак.

– О, ну всё-о-о-о. Отсюда я мальчиков моих никогда не уведу... – обреченно застонала Анна Павловна, когда вся толпа завалилась в сувенирную лавку, и оказалось, что монастырь производит десяток видов собственного ликера: мандариново-ореховый, розовый, из горьких целебных трав, и еще какой-то сербурмалиновый спиритуозэ.

Елена все никак не могла раскусить, от чего же так приторно свербело и чесалось в переносице.

– Чем это так пахнет? Нет, не ликером, точно!

Воздвиженский выразительно нюхая, как будто фильтруя воздух, прошел внутрь до просторного стеклянного шкафа.

– Вот! Это отсюда! Воск! Настоящий!

Свечи, медовые, размером с кулич, с янтарными и жженого сахара прожилками, выделанные с боков ячеечками, как соты, благоухали так, что кружилась голова.

– Смотри: прянички! – уютным семейным тоном заметил Воздвиженский, запав голосом в ухаб гласной-согласной в середине слова и тыча в соседнюю полку. И тут же гоготнул: – Ого! Написано: «С 772 года!» Это ж зуб сломать можно!

Бегло осмотрев съестной ассортимент, и поняв, что монастырские пряники все просто как сговорились: содержат яйца, – Елена, все еще обморочно втягивая на бегу в себя запах медвяных сот, чтоб не упустить ни грамма, как будто пожирая их через нос, помчалась к выходу.

Было еще что-то вон там, на витрине – странно привлекательное (потому что абсолютно неизвестное по назначению) – прямоугольное, невзрачное, сыро-белого оттенка, похожее на мыло, тисненное видом монастыря, в слюдяной обертке, но Елена уже не рассмотрела что и вылетела наружу.

Мимо монастырской небеленой стены, двух с лишним метров в высоту, и чуть ли не метр в толщ (первого средства самообороны, адекватного пониманию насельниками степени внешней угрозы мира), домчалась к колокольне, шлем которой отсюда смотрелся соломенной хижинкой. Сотни три ласточек, прилетевшие вместе с ними на остров с большой земли, густо вышивали небо мулине, ныряли в верхние сводчатые окошки колокольни, провязывали, нанизывали башенный остов на свои воздушные спицы, и, казалось, чуть приподнимали его, выскальзывая снова в небо с другой стороны.

Вместо ручки, с кованой двери храма медный лев, чуть похожий на Темплерова (с арамейским мужским носом и человечьими же тоскливыми глазами), подал ей лапу; и когда она лапу приняла и пожала, тяжелая, железом крест-накрест залатанная дверь со странной легкостью подалась и впустила ее внутрь. И, сильно согнувшись, Елена втекла кроссовками в желоб в центре припорожной плиты, ухидивший сантиметров на десять ниже уровня внешних плит, и заставлявший предположить, что подобная геометрия сложилась, когда камни еще были жидкими. «Если б я веков пять всего назад сюда заявила, и этого протертого желоба бы еще не было, я бы в эту низенькую дверь не пролезла», – с улыбкой подумала она – и шагнула внутрь.

Служба только началась. Присев на резное, удивительно точно к форме тела подогнанное, копченое деревянное кресло, которое, судя по едва разобранным ею темным готическим полустертым буквам, принадлежало пару-тройку веков назад какому-то Бэркеру («Ну, Хэrr Бэркер вряд ли сегодня к мессе придет»), и облегченно пристроив локти на чрезвычайно удобные плоские, абриса груши в ширину, ручки (теплые, вопреки дубовости материала), она уже спиной услышала, как Анна Павловна, как всегда болезненно боявшаяся, что ученички пропозорят ее и устроят кошунство на публике, шипела:

– Посмотрели – и на выход. Чернецов, куда направился? Моментально положь свечку где была! Тут у них – свое. А у нас сейчас экскурсия на фабрику, где свечи делают! На выход!

Елена на секунду обернулась и увидела, как Воздвиженский рыпнулся было к ней, сделал было шаг по направлению к ее скамье, но потом, услышав повторный, угрожающий гак Анны Павловны, запнулся, набучил губы и, покорно ссутулившись, пошел со всеми на улицу.

«Иди, иди, лапша, мамочка зовет тебя», – подумала Елена – и отвернулась к алтарю.

Узенькое игривое алтарное рококо поразительно шло к древним стенам.

А светлый и веселый, как ситчик на девичьем платье, потолок в цветочек, с домашней приветливостью соседствовал и с фресками одиннадцатого века, и с электронным алтарным табло с горящим номером сегодняшнего псалма: 51.

То есть, 50-м – в переводе для греков. А заодно, по наследству, и для русских. Которым, почему-то, в процессе исторической усушки-утруски, еврейских номерков недодали.

«А что если б футбольные игроки по полю с двойными номерами бегали? – представила себе Елена. – Мяч к воротам ведет Цымбаларь, Давид Ишаевич, нападающий, игрок на ким-валах и киноре, под номером 50 (51) – и, вот, наконец, мощный пас справа налево, то есть слева направо! Простите, мы опять сбились со счета!»

«Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, – начала Елена тихо читать по памяти свой любимый псалом вместе со стоявшей в алтаре монахиней, казавшейся ей в этот момент синхронной переводчицей. – Ибо беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну».

И сразу почувствовала себя сидящей на своей любимой жаркой банкетке в церкви в Брюсовом – когда после вечерней службы тушили свет, и начетчица-мирянка, худенькая девушка в платке, слева, перед левым клиросом, рядом с иконой Взыскания Погибших пронзительно, при потрескивающих свечах, с особым монастырским запалом и наклоном слов читала утренние молитвы (авансом, впрок, с вечера), вместе с 50-м псалмом.

«Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя», – краем уха слушая немецкий текст, выговаривала вслед за монахиней на таком емком и живом церковно-славянском Елена, явственно ощущая себя сразу в двух местах. И с особым трепетом повторила наполнявшую сердце радостью резонанса истины шпаргалку: «Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».

И, всеми чувствами (и внутренними и внешними) мигом обнаружив себя одновременно и в своей родной церкви – и здесь, в храме, в сердце богослужения – то есть – оказавшись вдруг наконец, в полном смысле, *дома* – Елена с ужасом, разом, почувствовала, как навалилось страшное осознание совершенного ею греха, разбившего ту сказочную, абсолютную, нежную защищенность от внешнего мира, то невыразимое словами ежесекундное богообщение, то удивительное нерукотворное свечение, в котором была замкнута, как в собственном райском замке, все время – с крещения – и до самой непостижимой, по идиотизму и никчемности, ее выходке с Воздвиженским в поезде.

Бороться за него? Отнять его у мира, уже давно его проглотившего с потрохами и калькуляторами, и только пускающего сытые слюньки? Увлечь его за собой? Заставить его увидеть другой, нездешний мир? Бред. Сражаться за его душу, уже давно высчитавшую ему на куркуляторе послушную, общую, обыденную плотскую смерть? За чью душу сражаться? Этого барашка, бегущего, едва слышит чужой голос, в стадо – чуждое мне до омерзения? Бред. Бред. Всё это не что иное, как мой, мой личный грех, блуд, мой личный соблазн. И больше ни-че-го. Этот несчастный мальчишка не имеет к этому никакого отношения. Нечего даже и вдумываться в то, кто он, и почему появился в моей жизни. Статист, через которого соблазн действовал. Вляпалась-таки в жижу жизни. Боже, как хочется никогда отсюда не выходить. Остаться здесь, в монастырских стенах. Ни мизинцем не дотрагиваться больше до разрушительного внешнего потока, приносящего только боль и потери, угрожающего тому самому ценному, что у меня есть – чувствовать Бога, быть с моим Господом.

Храм был полон мирян. Священник благословлял на начавшийся за четыре дня до этого предпасхальный католический пост, и читал про паскудника-змея в Эдеме, и про то, как вме-

сто обещанных ползучим вруном прелестей, Адам и Ева вдруг обнаружили себя голыми королями – лысыми зверями, бездомными, вечно несчастными, неприкаянными, пожинавшими волчцы и тернии – вместо чистоты, любви и счастья вечного творчества – горькие плоды поврежденного из-за них мира; и даже любить по-настоящему бывшие едва ли способны. А потом – страшные одиннадцать строк из Матфея о трех искушениях, предложенных Спасителю в пустыне – закончившиеся победоносным: «Тогда оставляет Его диавол; и се, Ангелы приступили и служили Ему».

Монахини гнездовались в самом начале правого крыла кресел. Но, несмотря на то, что Елену тянуло к ним, как магнитом, туда она пересечь не решились.

Неожиданно сзади нее звонкоголосые селянки запели тоненько и красиво: «Ты молись за нас, Мария!» и им подтянул весь храм.

Священнику прислуживали подростки-островитяне в белых облачениях – надетых прямо на верхнюю одежду – с капюшонами, красиво уложенными на спину, и с удобной застежкой-молнией спереди – снизу доверху. Причем, у одного парня из-под оперения торчал еще и теплый стеганный капюшон плюшевой куртки.

«Ангелы с молниями», – про себя, улыбнувшись, проговорила Елена, на миг пожалев, что не может прямо отсюда вести по телефону репортаж для Крутакова.

Ангелы встали на колени, самая младшая девочка оббежала друзей и раздала им колокольцы из ларчика – и, под медный звон, над алтарем в руках священника возшло белое солнце.

По сравнению с русской двухчасовой литургией, служба была сверхбыстрой – только самые неотложные молитвы.

Монахиня-настоятельница сотворила фокус в алтаре, крутанула потайной ящик алтархена, и достала из-за распятия еще одну чашу: и раздала облатки.

Из дюжины монахинь четыре остались сидеть, не подходя к причастию. Елена с грустью и сочувствием посмотрела на них, догадываясь, по своему опыту, каково это.

Сразу же после службы, когда черная вереница с белыми воротничками утекала в особую, южную дверь, она подбежала к понравившейся ей чем-то сестре (из тех, кто подошли к чаше) и остановила ее, поздоровалась, не зная, что сказать, и замялась – а та, почувствовав ее замешательство, и ничуть не удивившись, сразу, как-то по-родственному, сказала:

– Ну, пойдем... – И провела ее вместе с собой в закрытые для мирян монастырские сводчатые коридоры с потертыми портретами умерших аббатис, безостановочно рассказывая и рассказывая, как будто заговаривая ей зубы, мелодичным, упругим, гулко отскакивавшим, как мячик, ей же в руки, от стен голосом, и умудряясь иногда еще и гладить ее по голове, хотя ростом была раза в полтора меньше:

– Франциска. Я сестра Франциска.

– Как святой Франциск, который с голубями болтал!

– Да-да, ты права – точно! Хоть и не он мой святой – но я его считаю неофициальным покровителем. Елена тоже прекрасное имя – царское! Я была чуть старше тебя, когда я услышала зов. Нас было восьмеро у мамы. Я родом из Силезии – знаешь, где это? Это бывшая Польша, в смысле бывшая Германия, а до этого бывшая Польша – с ней запутаешься, с этой моей Силезией. Мама очень плакала, когда я решила уйти. Я ей сказала: «Но у тебя же еще семь детей останется!» А она мне, плачет, и говорит: «Да неужели ты не понимаешь, что я каждого из вас люблю как единственного!» А я ей говорю: «Вот именно, мама. И Бог каждого из нас любит как единственного. Каждого по-разному, но каждого одинаково сильно».

Из прохладной, как у вечности под мышкой, полутемной галереи, они выморгнули в ослепительно солнечный, пахнувший нагретым сырым песком, внутренний дворик.

– С какого же вы года здесь?

– С 1945-го.

– Ничего себе... Сорок пять лет уже в монастыре?!

Красивое живое Францискино личико, углем резко вырисованные резвые брови, маслом писанные румяные скулы без единой морщинки, гладкие, как у младенца, веки, ни коим образом на шестьдесят пять лет, да и на пятьдесят пять не тянули, да и даже лет на сорок с трудом. Она вообще выглядела вне каких-либо обычных понятий о возрасте. Назвать ее молодой – в обычном человеческом понимании – было бы немыслимо только потому, что на ее лице абсолютно отсутствовали соответствующие штампу «молодость» традиционные, типованные – заимствованные, растиражированные вокруг миллионами копий – ужимки и гримасы – шрамы страстей. Время, которое на ее лице отражалось, точнее всего определялось как «выросший ребенок».

– А папаша... – продолжала сестра (с хитрой улыбкой, кажется, догадавшись, что Елена ошеломлена ее возрастом и всеми этими цифрами), – ...вообще был простым мещанином, и ничего в вере не понимал. У него в мозгах все было по порядку: он считал, что женщина должна, без сомнения, выйти замуж, родить детей, да побольше, и воспитать их, так, чтобы дети получились ровно такими же, как родители, и как родители их родителей, а потом умереть. Нет, я конечно рада, уважала родителей, и все такое... Но я услышала зов, который был более мощным и властным, чем все то, чему меня до той секунды учили. А теперь скорей скажи мне, что с тобой случилось.

Когда через несколько минут рассказа Елены обе они одинаково, не глядя, хлопнулись задами на литую скамейку под кустом с набухшими бочонками почек, и Франциска, мягко поправляя ее грамматические ошибки, договаривая за нее концы фраз, одновременно, тем же музыкальным голосом, казалось, выправляла и расправляла заодно и ее эмоции и мысли, Елена вдруг удивилась тому, что все время до этого, как замороженная, не только не вытирала и не прятала, но даже и не замечала водопадов слез, катившиеся у нее из глаз, превративших джинсы уже местами из линяло голубых в ультрамариновые, и освобождавших ее от всех засевших в душе за последние дни заноз.

– Я не хочу уходить отсюда, – вдруг вырвалось у нее до последнего соленого кристалла искреннее признание. – Там снаружи всё больно. Почти всё. Болезненные, идиотские, тупые, бессмысленные, никому не нужные игры! Я не хочу в мир. Там всё ранит. Почти всегда. Там почти нет... никого... Я не могу так больше переплывать – от храма и до храма – а между этим везде боль, и дышать невозможно! И только какие-то внешние блески жизни – кратковременная анестезия... – всхлипывала Елена, растирая сопلي тыльной стороной ладони. – Я не своя там, совсем! Мне ничего этого не нужно, на самом-то деле!

– Слушай, тебе никто и не обещал послать тебя на курорт, – внезапно жестко возразила ей Франциска. – Тебя наоборот сразу честно предупредили: посылаю вас как агнцев среди волков.

– Франциска! Но там ведь можно выжить, только если никого и ничего вокруг не замечать и не чувствовать! Только ценой полной кастрации чувствительности! Франциска! То есть – убить себя, чтобы выжить! А если, наоборот, остаешься живой и всё чувствуешь – то тебя всё вокруг убивает! – отчаянно путая времена и спряжения, а, следом, и лица – начав случайно называть сестру на «ты», захлебывалась она. – Там всё, Франциска, понимаешь, всё, абсолютно всё, неправильно! Франциска! Всё шиворот-навыворот. Понимаешь?! А когда пытаешься кого-то изменить – сразу думаешь: да что это я, в самом деле?! Может, это всё – моя гордыня – менять кого-то?! Кто я? Там всё не мое... – тихо воя, выговаривала она уже своим кроссовкам, обильно поливая их соплями, скрестив руки на коленях и уронив голову. – Мне ничего этого не надо!

– Запомни: ты не всесильна – только Господь Бог может кого-то изменить, – тихо отозвалась Франциска. – И только если другой человек сам этого истошно, до смерти сильно, захочет! Не вини никогда себя ни за чужие грехи, ни за чужие ошибки. У каждого есть право своего собственного выбора... – Франциска впервые за весь разговор тяжело вздохнула. – Ты хотела бы жить как мы, в монастыре? Но одновременно ты чувствуешь, что есть что-то в мире, что

можешь сделать только ты? Так? – рука сестры Франциски легко коснулась ее содрогающейся спины.

Ответа не было. Вместо этого раздались уже откровенные рыдания.

Франциска взяла ее руки в свои розовые кулачки и потрясла их, как в детской считалочке:

– Дары – у всех разные. Ты должна слушать себя. Внимательно. Никто за тебя выбор не сделает. Никого не слушай, кроме Бога. Очень внимательно за собой наблюдай. И всё услышишь. А ошибки все делают. Господь всё извиняет – лишь бы ты искала всем сердцем Господа. А то, что больно... Так боль – это плата, цена, за дар чувствовать. Ты же живая. Не бойся. И иди вперед. Ты же знаешь – не бывает ни одной такой секунды, когда бы Господь тебя не слышал. Вот и сейчас...

Из монастырского двора, где они сидели, сизые Альпы выглядели совсем теплыми и ручными. А теперь еще и мокрыми. Франциска, заметив чуть распогодившийся взгляд гостьи, мгновенно тоже как будто улетела всеми чувствами на ту сторону озера, на какие-то одной ей знакомые горные тропинки:

– А я каждый отпуск туда, в горы хожу! Поднимаюсь на самый верх. Все перевалы знаю. Только отпуск маленький. Я работаю все время: машинопись преподаю. И стенографию.

– Другим монахиням?! – переспросила Елена, экстренно вытирая нос рукавом рубашки.

– Да нет, что ты! – расхохоталась Франциска, округлив губы и покосившись на соседнее здание. – Да нет! Детям, только детям, здесь, на острове, в школе. Знаешь, какая у меня печатная машинка волшебная! Я ее очень люблю. Знаешь нашу присказку? *Oro et laboro!* Я мемуары на ней пишу, когда свободное время есть. Может, когда-нибудь что-нибудь из своих записок издам.

Елену страшно подмывало выведать подробности, но язык не повернулся.

А Франциска тем временем, с самым что ни на есть хулиганским видом закинула ногу на ногу и, вдвинувшись поглубже, поудобнее на лавочку, и потирая пальцами виски, чуть сбивая при этом головной убор назад, и, сделав вид, как будто меняет тему, невесомо добавила:

– А знаешь, между прочим, какие здесь жесткие правила были в монастыре первые пятнадцать лет, после того как я сюда поступила! Нам вообще никуда не позволяли выходить за территорию – ни ногой! А гулять разрешали только вот здесь вот, во внутреннем дворе! Пока Консилиум не решил иначе.

– Кошмар! – не удержалась Елена. – Кто же имеет право вас ограничивать?! Кто же имеет право запрещать вам ходить в горы и любоваться сотворенной Богом красотой?! Вы же сами сказали: надо слушаться только Бога и себя!

Франциска хитренько улыбнулась, по-пацански засунула руки в карманы туники и оттопырила их:

– Ну, вот видишь! – и ее красивые брови выгнулись двумя крутыми мостиками, рифмуя очень шедший к ним черный шаперон. – Тебе это не по вкусу. Здесь – защита. Но это не рай. Ты же это прекрасно понимаешь. Сражение везде – и здесь, внутри – и там, снаружи. И так будет всегда, пока не...

И вдруг радостно, вся просяив, соскочила с лавки:

– А вот у меня есть кое-что для тебя, что точно тебе понравится! – и выудила из правого кармана облачения белую рыбину с блестящим серебряным глазом, сделанную из материала точно такого же сырого цвета, что и те тисненные прямоугольнички, в свечной лавке, которые Елена приняла за мыло.

– Что это?!

– Марципан, – и, быстро шебурша, разворачивая слюду, уже протягивала Елене, приговаривая: – Ешь, пожалуйста! *Nur Mandeln, Zucker und Wasser*, это мы здесь сами делаем! – скороговоркой перечисляла она ей ингредиенты. – Не волнуйся, – будто откуда-то знала про ее веганские фобии. И настояла, чтобы всю рыбу Елена непременно съела при ней же целиком.

И потом, когда Елена разжевала даже сладкую серебряную бусину глаза, Франциска как-то успокоенно выдохнула:

– Ну вот, теперь все будет хорошо. Иди.

И обняв ее, без всякой грусти, как будто растается ровно на пять минут, Франциска улыбнулась и вприпрыжку, но чуть прихрамывая, побежала к другому зданию:

– У меня спевка хора – там, во внутреннем храме! Я бы тебя пригласила. Но тебе же к своим идти надо. Ничего не бойся. Увидимся! До скорого.

И это ее прощальное «До скорого» с каждым шагом, пока Елена шла обратно по направлению к церкви, все сильнее и сильнее освещало ее изнутри; как будто проглоченный впопыхах кусочек марципана излучал жаркое сияние и превратился в автономный реактор внутри нее, так что через несколько метров ей казалась, что она уже не идет, а летит, движется на воздушной подушке, не касаясь земли.

«До скорого. До скорого», – повторяла она – и это был как якорь, заброшенный у самого прекрасного из берегов, который в секунду перевесил все глупые мелочи.

Оглянувшись на скульптуру Катарины Сиенской – в самом центре внутреннего дворика, она, не веря своим глазам, вдруг разглядела, что у ног Катарины сидят две очень усаые кошки, один чрезвычайно интеллигентный павлин и одна крайне улыбчивая лягушка.

«Кроликов французских не хватает. И Бэнни с Куки», – дорисовала Елена; окинула еще раз прощальным взглядом зацветающий дворик и горы за озером, теперь будто обернутые жатой папиросной бумагой: вот она, вся послевоенная история Франциски. Ее география боя.

И влетела в церковь.

У южной, проваливающейся местами в первое тысячелетие, стены пламенели взлетно-посадочные огни в оранжевых длинненьких пластиковых стопочках на кованом чугуном столе.

Сверху, на полочке, покрытой белой скатертью с кружевными оборками, стояли махровые розовые тюльпаны, с рваными краями, в простой прозрачной баночке, и глиняный горшок с бордовыми цикламенами, вертикального взлета, в сливочную крапину.

Потолочные своды и арки при мерцающем освещении выглядели еще более изумительно неровными, рельефными, бугристыми, как будто вылепленными вручную ладошками сестричек – так что без труда можно было сказать, где лежал какой палец при лепке.

У алтаря возилась седая худенькая монахиня, отчищая что-то садовой лопаткой с мраморной предалтарной ступеньки.

Синяя с бледным золотом узина рококо алтаря в полумраке придавала храму пещерный уют.

– Сестра Синдереза! Сестра Синдереза! – шумно ворвалась в храм из южной двери дородная монахиня с нектариновыми щечками и темной челкой, пиратски выскакивающей из-под плата. – Вас зовут к телефону!

И принялась в темпе собирать молитвенники с сидений, раскладывая их столбиками в начале каждого ряда.

– Спасибо, сестра Вероника. Я тут уже все доделала, – ответила та, распрямилась, и прошествовала к двери, неся охряную лопатку в вытянутой руке, как дичь.

Елена подошла к алтарю и, с любопытством – что же там оттирала сестра Синдереза? – посмотрела на ступеньку: приалтарный перворельеф с намытыми и проеденными слезами дырами и кратерами, кой-где портили носатые рожи, слагавшиеся из каменных слоев и неровностей – кошмары из прежней жизни коленопреклоненных монашенок; а по центру на изъеденном веками камне виднелись легкие летучие лики – видимо, по большому благу запечатленные на прощание, на память о себе, душами сестер при уходе на другую, вечную, работу, даже без разрешения Консилиума, вряд ли когда-нибудь отпустившего бы их взлететь на такую высоту.

Вдруг ее кто-то цепко ухватил сзади за правую ногу. Елена вздрогнула от неожиданности. Девочка лет двух с четвертью от роду, с круглой мордой бутончиком, от души смеясь, вцепилась коготками в штанины ее джинсов, а потом отпустила – и с удовольствием шлепнулась задом на ковер посреди церкви, перевернулась на пузо и, демонстрируя профессиональные недюжинные навыки, покатила по центральному проходу кубарем, как колбаса.

– Лина! Лина! – позвала ее мать, держа полуоткрытой дверь, напустив на плиту лужу солнца.

Пупс скатался в клубок, поднялся, колченого пустился наутек и скоро скрылся на улице за захлопнувшейся, как крышка кованого сундука, дверью.

Елена вернулась к свечам – четыре ступенчатых ряда взлетных огней жарко дышали в лицо. Она долго неумело пыталась перелить огонь из одной пластиковой чашечки в другую и зажечь свечу; но переливался только горячий расплавленный парафин, немедленно заливавший едва успевавший заняться огонь; и наоборот – когда она наклоняла не горящую свечку над горящей, то из нее моментально выпадал белый круглый парафиновый пирожок, и прибивал и ту свечу, которая до этого нормально себе горела; пока, наконец, не заметила снизу, под литой чугунной листвой спокойненько лежащую специальную тонкую свечку-лучину; и, ругая себя за идиотизм, зажгла, наконец, свечу, которая ладно вошла в ободок в верхнем ряду.

Чувствуя жар на лице, она, не отрываясь, следила за тем как, вначале матово-молочная, жесткая, парафиновая начинка расплавляется и делается слезно-прозрачной, так что становилось видно алюминиевое колечко, оброненное на самом дне этого парафинового пруда, до того как он застыл.

Сзади, как будто из другой жизни, доносились сводчатые, беленые, меловые голоса и шорохи.

Она закрыла глаза – и было все в огнях.

Вокруг нее поднялось вдруг немыслимое медовое благоухание – хотя ни одной медовой свечи в храме не было.

– Ты... тебя все ждут... пошли, – услышала она за правым плечом совсем нереальный голос Воздвиженского, подошедшего как-то беззвучно.

Она обернулась к нему – и по тому, как он смущенно осёкся, онемел и вперился в нее расширенными глазами, она догадалась, что свет от свечей, должно быть, прилип к ее лицу.

Она взяла его за руку и притянула к свечам:

– Ты чувствуешь?

Воздвиженский застенчиво улыбнулся, как будто его экзаменовали:

– Медом... пахнет, – произнес он, ошалело смакуя каждое слово.

И на какую-то секунду от отраженного света его профиль стал смугло иконным. И только по-свечному блестящие очки чуть портили облик.

А потом, как будто пытаясь стряхнуть с себя все, что он видит, слышит и чувствует, он в испуге махнул головой:

– Ты сумасшедшая, этого всего не бывает!

Сестра Вероника, уже давно порешившая служебные книги, отчаянно покашливала в подсобке. Елена не удержалась и перед выходом постучалась и зашла к ней.

Вероника мирно расправляла тупым мыском бежевой туфли швабре бакенбарды.

– Простите, а я вот вас хотела спросить – это не столь важно, но все-таки: вы, конечно же, мяса здесь никто никогда не едите? Сёстры, я имею в виду.

– Doch! Doch! – щекастая Вероника сложила морщинистые губы довольной шипастой розочкой, опровергая ее надежды. А потом, лукаво сжав полумесяцы глаз, растянула губы в длинную прямую бечеву – с выражением: рада была вас видеть, разговор окончен!

Снаружи ласточки подняли уже просто неприлично требовательный чируп, который слышен был даже через закрытую дверь.

Отжимая клепанную чугуном (тяжелую, как приваленный камень к храмину!) дверь на гигантских кованых петлях, Елена совершила кроссовками восхождение по уже знакомому каменному желобу, все еще чувствуя свою шершавую от цыпок ладонь в мягкой отрочьей руке Воздвиженского.

Снаружи, под самым сводом, вверху, оказалась не замеченная ею раньше крошечная, жилистая ласточкина мазанка.

Вероника стояла позади них, придерживая дверь и щурясь на солнце:

– Столько ласточек мы никогда здесь еще не видали! Надо же! К дождю, что ль? Неужто и до нас этот ураган докатится?!

Дверь закрылась. Сокрестие проржавевших железных лат на ее неровной поверхности было похоже на сгорбленную спину мощного старика-монаха, в одиночку удерживающего натиск осады снаружи.

Вконец расшалившаяся гладенькая большеглазая ласточка влетела Елене под мышку и, прошмыгнув, как под мостом, вынырнула за спиной. А на обратном круге, на бреющем, в буквальном смысле, полете, взъерошила и взбила крылом волосы остолбеневшему от такой наглости Воздвиженскому.

Ее отсутствия на экскурсии никто особо и не заметил. Анна Павловна не задала ей ни единого вопроса, и, кажется, была все это время за нее спокойна: куда она с острова-то денется? Аня, похоже, вообще мудро решила закрывать глаза на выходы любимой подруги: подвалила к ней, и, делая вид, что Воздвиженского рядом с ней просто не существует, как будто это просто мираж в воздухе, сквозь который она может без помех пройти, принялась ей сливать свои наблюдения:

– Ты посмотри, какая Ларисе Резаковой немка досталась! Поразительно на саму на нее похожа! Взгляни только! Прямо вылитая Резакова! – тихо хихикала Аня. – Не внешне, а поведением.

Сильвия, красивая поджарая длинноногая блондинка с мумифицированными восковыми скулами, вовсе не похожа была на маленькую плотную Резакову, приклеившую к себе вечно недовольную стервозную гримасу, сильно портившую лицо; тем не менее, действительно чем-то ей подходила: и теперь, когда они вышагивали рядом, это было особенно заметно. Обе слегка подмороженные, обе болезненно сфокусированные на своей внешности, обе все время держащие себя в руках, и, на всякий случай, никогда не позволяющие растягиваться коже лица в улыбке – они мерно и бесстрастно, как будто два разномастных легавых пса, у которых отбили нюх, продефилировали и мимо столетних лип, густо оплетенных плющом, в котором хулиганили ласточки, играя в фуникулер, и мимо неравномерно заплатанной бетоном монастырской стены, где усики хмеля с шаловливой точностью имитировали форму вековых трещин – и ничегошеньки вокруг не замечали, только иногда оправляя волосы и поджимая губы, штампуя помаду. И не расколдовались даже когда прямо перед ними на изумрудную мураву спикировал с неприличными криками и очень длинным тормозным путем все тот же селезень, водевильно догоняя свою даму сердца, а потом, увидев продвигающуюся толпу, тут же забыл про любовь, и, раскланявшись перед приезжими, с той же страстью принялся выклянчивать десерт.

– Как вы думаете, они, на пару с уткой, это представление перед каждой туристической группой устраивают? Может, у них даже расписание прибытия кораблей есть? Семейный подряд? – спросил их с Аней Воздвиженский.

Аня не отреагировала на него вовсе.

Шагали по узенькой дорожке вдоль стены. Елена пыталась идти рядом и с Аней, и с Воздвиженским. И в результате, передвигались они по тропинке, толкая друг друга, стреноженным неправильным треугольником.

– Links oder rechts! Likns – oder rechts! – гундосым учительским голосом заорал вдруг и засигналил им сзади велосипедист, в мерзких рептильных обтягивающих шортах, делая гнусное дидактическое ударение на слове «oder».

– Ну что ж, голос вполне соответствует его противным, жилистым как у общипанной курицы, задним ногам, – прокомментировала, оглянувшись, Елена. И хотела еще что-то добавить про его корзинку сзади велосипеда для покупок, полную яиц, но вовремя сообразила, что метафора получится нецензурной.

Аня молча, без всякой реакции, отступила и пропустила всех вперед.

– Не трамвай, объедет, – недовольно буркнул Воздвиженский, но все-таки ускорил шаг и перескочил на обочину к Елене.

– У курицы нет задних ног, – занудно поправил он ее.

– Зато у велосипедистов есть! – оборвала его Аня, подтянулась, перестроилась, оттеснила Воздвиженского и пошла впереди него с Еленой.

Дьюрька фотографировал на пристани Анну Павловну – и в кадр в самую последнюю секунду, разумеется, влез с объятьями и криками «Хрюй!» Чернецов – изогнувшись дугой, в невообразимом – с зелеными и черными яркими полосами – жакете (купленном явно тоже, чтобы впечатлить даму сердца), и в кроссовках на очень высоких подошвах, и в джинсах, вечно висящих на нем почему-то кулём, – с высоты своего роста, он смешно приложил низенькой Анне Павловне голову на погон плащика.

Ласточки их обратно не провожали. Зато во втором, крытом верхнем салоне, на том же самом кораблике с усами матросами, обнаружилась стая дебилов, не понятно, откуда взявшаяся и не понятно где и что навещавшая – и не исключено, что катавшаяся здесь уже по озеру кругами весь день, доселе никем не замеченная. Человек десять (самого разного возраста и тригонометрии голов) сидели с самым серьезным официальным видом за двумя составленными вместе пластиковыми столами цвета жилистого индиго, разложив вокруг себя письменные приборы, удобно пристроив локти на стол, и изо всех сил гавкали, храпели, сипели, лизали стол, забивали карандаши себе под ногти, заливались глупым смешком, и явно при этом понимали друг друга. Единственная, кому в этой компании было не весело – надзирательница, молча жамкала развернутую газету, демонстрируя урби эт орби только свой узкий красный лоб, с колоссальными угрями.

Солнце перекачивало в салоне корабля с одного застекленного борта на другой, как в бутылке, плавно наклепывая свои параллелепипедные пепельные этикетки, как на чемодан – то на одного пассажира, то на другого. Выйдя на валковую корму, и цепляясь взглядом за шершавый шлем колокольни, воздушное пространство которой по прежнему барражировали бешеные ласточки, Елена с улыбкой вспомнила, с каким суеверным ужасом Франциска, притушив голос, спросила у нее, уже прощаясь:

– А что, все эти богоборцы так по-прежнему и сидят в России у власти?

Водитель их автобуса на обратном пути, по просьбе Анны Павловны, сделал долгожданную всеми (кроме катастрофического вегетарианского меньшинства) мемориальную остановку: у Макдональдса. На фоне голодной Москвы, не пробованная еще никогда и никем бросовая макдональдсовская придорожная еда, втащенная в салон автобуса в небывало шуршащих пестрых пакетиках и обертках, которые уже и сами-то по себе казались в совке дефицитом, рассматривалась всеми как абсолютно непререкаемый деликатес.

– Леночка, тебе наверняка это есть можно... – любовно заглядывал своему бутерброду в рот Воздвиженский. – Котлетки наверняка искусственные!

– Классные котлеты! Может это ты, Воздвиженский, со столовками в своем любимом Советском Союзе перепутал? – ехидно отозвался со своего места Дьюрька.

– Кстати, Дьюрька, а как ты думаешь, почему в Советском Союзе апельсины не дóбьются? – спросила его Елена, доставая из пакета припрятанный Маргой сок и готовясь опять извлечь из крышечки чудесный клик, при вскрытии.

И, нестати, излишне ярко вспомнила в эту секунду изжогу от бурды цвета ослиной урины под биркой «Сок Мандариновый», в редкие счастливые дни продававшейся в гастрономе: вместе с пятисантиметровым моче-каменным осадком на дне стеклянной банки, и запахом уксуса, навсегда заставлявшим забыть о цитрусовых, как об источнике наслаждения.

Дьюрька сделал вид, что ее не услышал.

А когда, ухлеставшись опять в уматы апельсиновым соком, Елена побежала в тесный, крайне неудобный автобусный туалетный акрополь – пописать, и проскакивала мимо Дьюрькиного кресла, то была удостоена общения только с пунцовым обиженным ухом отвернувшегося к окну Дьюрьки.

– Может быть, мясо в котлетках и искусственное, – сообщила она, возвратившись, дожевывавшему биг-мак Воздвиженскому, перелезая через него, как через крутой горный отрог, к окну. – Но целоваться мы с тобой теперь будем уже только завтра.

IX

Ночью, после очередной болтовни с Крутаковым («А вот скажи мне, Крутаков, – бессовестно резвилась она, сидя на лестнице и вытирая себе усы, укачивая на ночь чашку какао и из последних сил пытаясь не уронить, и не перекрасить белый ковер в шоколадный. – Есть ведь иконы, на которых дохристианских пацанов рисуют в шляпах, вместо нимба. А почему нет ни одной иконы, на которых святой бы был в очках? Что, разве не было ни одного близорукого святого? Ни одного святого в очках? Или, на худой конец, в пенсне?» «Это потому, – жеманно отвечал Крутаков где-то в темных потусторонних недрах телефона, – что иконы ведь посмерртно ррисуют. А когда ты умираешь – ты уже прррекрасенько видишь всё и без очков. Знаешь, что Бетховен сказал за секунду до смеррти? “Ну, наконец-то я сейчас начну норррмально слышать!”»), ей приснился кошмар.

Она видела, что звонит Крутакову с кнопочного телефона, и никак не может набрать его номер. Дико холодно и темно, и, исхитрившись, кой-как, нажать цифру 1, она никак не может, не откалывая себя от айсберга одеяла, сталагмитами нетающих рук прищучить в телефоне необходимую цифру 8 – восьмерка выскальзывает из-под пальца, как зловерное насекомое, сбивая с пути истинного едва волочашуюся следом за ней малахольную цифру 9, которая вдруг почему-то начинает припадоочно западать, отказываясь сообщать, что происходит, и чего она вообще от нее хочет. Да и сама Елена начинает поддаваться их, этих цифр, панике, и, вот, она уже не вполне уверена, что это – именно те цифры, то заклинание, которые требуются ей для данного конкретного случая, что это подходящий пароль, код, с помощью которого она может вызвать Крутакова. Шансов услышать его все меньше. И нет уже даже времени попросить Темплерова высчитать неприличную скорость, с которой эти шансы с каждой секундой сокращаются. И потом, все еще держа околевшими руками телефонную трубку, она твердит Крутаковский номер наизусть: сто – восемьдесят – девять – одиннадцать... – и ей снова кажется, что это единственный в мире номер телефона, который она сможет – при желании заинтересованных сторон – продиктовать даже в случае последней, экстренной необходимости – если это будет единственный способ Крутакова, например, воскресить. Хотя... и тут она уже перестает быть уверенной насчет буквальной расстановки там, в его вызубренном телефоне, рифм и сути намека хромого размера цифр. И она кричит в темный, обжигающий легкие ледяной воздух, уже в полной панике: «Ты прав: я забыла твой номер! Все эти цифры не имеют ровно ни к чему отношения! Это все давно уже устарело! Проблемы со связью тут явно не из-за этого!» И все-таки пытается набрать его номер еще и еще раз, каждый раз зная, что ошибись она хоть

в одной цифре – и Крутакова не станет, он будет уничтожен, взорван, аннигилирован. Смени она всего одно число, молекулу, привкус, фразу, ответ из окна – и она погубит его. Не выдерживая уже этой дикой, несправедливой ответственности, она проснулась – в самом скверном расположении духа.

Обнаружила, что забыла закрыть окно на ночь.

И в школу с Катариной в этот день идти наотрез, без всяких объяснений, отказалась.

Плетя мохеровый шарф из бока Бэнни на лестнице, набрав (с некоторым внутренним содроганием, после отвратного ночного альптраума) тайный номер во Франкфурте, она неожиданно умудрилась высечь из телефонного аппарата глоссолалии: на линии вдруг заиграл протяжный и самоуверенный русский голос.

– Алллоооо?

Подошел какой-то Лев. Глеба не оказалось. А Лев выслушал все ее сбивчивые пароли и имена, и сказался лучшим другом Глеба. Поклявшись, что того не будет во Франкфурте до конца следующей недели, Лев начал глупейше кокетничать с ней по телефону:

– Девушка, по чарам вашего милого голоса сразу можно догадаться, что у вас в предках были русские белые офицеры! – Лев вытягивал русские слова, как разжеванную ириску. – Не правда ли?

– Был. Георгий, – вымолвила Елена, чувствуя себя как на каком-то неприятном экзамене у похотливого профессора, подтекст вопросов которого предельно понятен, но которому все-таки нужно отвечать предмет. – У Колчака служил.

И сразу полыхнули костры, и подъехал в темноте дозор на каурых конях, прикрывающий позиции после бежавших из Екатеринбурга бело-чехов; и жгучий красавец – поручик Георгий гарцевал на коне: тонкий длинный нос с гордой благородной горбинкой, и вихры вороново крыло – всегда описывала именно так, наивно, его не уцелевшие фотографии Анастасия Савельевна. Двоюродный дед Георгий, неприлично юный для того, чтобы называться дедом; девятнадцатилетний мальчик, в Париже с матерью успевший в ранней юности побывать, волшебнo игравший на фортепьяно лиловые фантазии неизвестного француза с облачным именем Дебюсси, сводя с ума барышень; всё до последнего патрона не веривший, что город, с такими жертвами, огненной верой отвоеванный за год до этого, теперь вновь сдан беснующейся сволочи – то ли из-за трусости союзничков, то ли из-за этих подлых ворюг чехов. И потом замутила глаза следующая, такая душераздирающе краткая, как *Sarabande* из *Pour le Piano*, летняя, ночь – и порхнул белый, любовно вышитый для него Глафирой носовой платок с их переплетенными инициалами, который Георгий на рассвете перед расстрелом успел выкинуть из окна управы – где держали под арестом захваченных в плен белогвардейцев – брату Савелию (переметнувшемуся к большевикам офицеру, вошедшему накануне в город с красными бандитами), умоляя передать любимой это последнее прощай.

– А что ж второй-то дед? Савелием, вы говорите, звали, так ведь, да? Почему ж он красный-то подался? – праздно любопытствовал, спустя семьдесят один год, сидя в мирном Франкфурте, флиртующий Лев.

– А задницу, по-моему, просто спасал, – в отместку за львиные «чары голоса», грубо и четко выговорила в трубку Елена. – Бабник, подлец и приспособленец. Спас. Увы. Стал моим дедом. Не Георгий, а он. Бабушка, по-моему, сделала выбор просто из-за памяти и любви к Георгию. Вышла за его брата. Такой вот глупый русский левират.

И на секунду опять сверкнул в памяти семейный апокриф: Савелий, потихоньку пробравшийся под окно управы, и из кустов высветивший Георгия, запертого на втором этаже под караулом; шепот Георгия, произнесшего в последний раз имя Глафиры. Скорчившийся Савелий, слышавший в последний раз голос брата, но лица его не видевший. И потом, когда голос сверху неожиданно стих, а раздались там уже совсем другие голоса и совсем другие звуки

– Савелий, уже обезличенный, как вор ночью, подобрал скорей белый платок, заткнул руками уши – и убежал на полусогнутых прочь.

– Леночка, как вы мне нравитесь! – сладко промурлыкал из трубки Лев, – Приезжайте тотчас же! Мы с вами должны непременно скорей познакомиться!

И ехать во Франкфурт как-то сразу расхотелось.

Не так ей представлялся этот магический звонок и разговор. Не так.

Подразнив Катарину для порядку: сколько часов, мол, трястись до Франкфурта в поезде? – она дошла пешком до станции, и поехала одна гулять в Мюнхен.

В электричке было битком.

Прямо напротив нее сидела старенькая злобная твигги со щеками всмятку и гримасничала в лицо служебным запискам в темно-коричневой, обтянутой шотландкой папке на молнии – сама тоже в скучном клетчатом костюмчике, только на пуговицах. А рядом с Еленой, приперев ее к окну, купался в собственной тучности и синих складках костюма страшно похожий на канцлера Хельмута седоватый господин с залысиной, органично образованной его большим лбом с густыми бровями, как будто ярко подведенными черным карандашом; он аккуратно сложил кочан своего пуза вместе с бордово-чешуйчатым галстуком на колени, так что там уже не умещался его алый мотоциклетный шлем с отъездным прозрачным намордником: его он держал, обняв, на груди – перевернув вниз дном, как таз, и барабанил по нему с обоих пандовых полукружий пухлыми лапами с отполированными ногтями, беззвучно пумпурумкая губами, и ласково глядя в потолок, как будто просил подаяния.

В Грёбэнцэлле в вагон неспешно вошла, окатывая каждого пассажира с ног до головы критичным взглядом, кучеряво-бритая пожилая негра в длинной черной юбке и малиновом ангоровом свитере под горло, над лицом которой явно кто-то подшутил в процессе изготовления: пока оно еще не застыло, нацепил на самый кончик носа чересчур тяжелые для нее очки для чтения – без оправы, но зато с очень толстыми узкими стеклами с золотыми дужками – в результате чего нос изумленно отъехал вниз, как капля, вместе со всей нижней половиной лица; и теперь она очков явно никогда не снимала, как и не меняла менторского выражения физиономии: села рядом с твигги, на освободившееся место, достала из сумки «Шпигель» и принялась, облизывая слишком грязно прокрашенный на фалангах указательный палец, глянцево листать журнал, отнеся его страшно далеко от себя, и отпятив книзу фиолетовые губы; и было все время страшно, что чудом держащиеся очки сейчас все-таки с ее оттянутого носа слетят и загремят на пол.

Глазея на просыпающуюся за окном зелень, совершавшую энергичную утреннюю пробежку за поездом, Елена вдруг соскользнула взглядом на отполированную плоскость стекла, отпрянула, влипла в плечо двойника Коля, и принялась усиленно дуть вверх, руками пытаясь пристроить оторвавшийся и болтавшийся перед ее носом сверкающий слюдяной канат, акробат-производитель которого опрометчиво намеревался спуститься сейчас в никуда. Твигги вжала дряблые щеки и взглянула на нее с плотоядным осуждением; негра молча наградила приговором поверх очков, тут же достала из своей обширной кожаной черной сумки с четырьмя ручками ядреный джюси-фрүйт, и землетрясение на ее жующем грозном порицающем лице в падающих очках стало выглядеть совсем уже эсхатологически; и только капустопузый господин остался относительно лоялен и рассматривал жестикулирующую в пустом воздухе соседку с добродушным, но настороженным интересом, перестав даже барабанивать по мотоциклетному кумполу – а Елена, уже лопааясь от внутреннего смеха, всё, как назло, никак не могла вспомнить, как же будет «паучок» по-немецки, внезапно сообразив, как же должны выглядеть все ее пассы в воздухе, если сверкающую канатную дорогу с сорванными швартовыми на солнце видно только ей – и в результате лишь выразительно указала эрзац-Колю пальцем вверх. Но лучше бы и этого не делала – потому что тут же потеряла уже и его сочувствие: тот, посви-

стывая, отвернулся в проход, и все трое спутников остались сидеть с окаменелыми лицами до Мюнхена, рядом с широко улыбавшейся и вдохновенно дувшей на солнечную взвесь русской.

– Нэкстэр халт – Мариен-платц! Пожалуйста, выходите справа! – объявил томный женский электронный голос, и засвистело, завертело, вынесло в безразмерный переход с киосками – музеями вновь только что созданной цивилизации еды в блестящих хрустящих пакетиках; в лабиринт, с десятками потайных лазов, пропахший духами; где самым захватывающим дух аттракционом оказалось прокатиться вверх в прозрачном лифте, и внезапно радостно материализоваться откуда ни возьмись уже на солнечной, палёной марципановой лепки, Мариен-платц, стараясь не размешать себя в толпе под подъезжающий звон чайных ложечек колоколен, и вылиться наружу из поразительно чистого новенького стеклянного бокальчика, похожего на перевернутый вверх тормашками железнодорожный стакан в металлическом подстаканнике, спрессованный кем-то в руках для компактности в куб.

Почувствовав вдруг разом остро, что все эти дни жила как-то впроголодь, Елена расплакала первое же попавшееся под руку кафе, на втором этаже, над пышной кондитерской, с окнами прямо на вяленую башню ратуши. Долго выбирала у витрины – пытаюсь вспомнить эпитеты, которые киоскер на вокзале присваивал каждому зоологическому роду бубликов – в зависимости от формы закрутки рогов.

– Нет-нет. Вот это будет для вас очень хорошо. У нас специальное предложение для этого времени дня, – сказала сонная и неприветливая официантка с толстыми икрами, послунявив меню и ткнув в него тупым пальцем, как будто ноги.

Елена подумала, что раз ей искренне советуют, то надо рискнуть, на всякий случай предупредила, что она вегетарианка – и через полминуты получила жирную шипящую в металлическом судке яичницу с жареной скорченной сарделькой, и скучным зэммэлем на блюдецке с тошнотным маслом в горчицнице, и чаем.

Растолковала официантке всё снова здорова. Но та с тупой рожей, переминаясь с ноги на ногу, стояла на своем:

– Вы заказали комплексный завтрак, и теперь отменить уже ничего нельзя.

Елена молча бросила ей на стол деньги и вышла, к завтраку принципиально не притронувшись и краем мизинца.

Перебралась в маленькую чайную на Кауфингэр штрассэ, с круглыми низенькими мягкими табуретками, где официантки, сразу же, едва она всунула туда нос, в один голос певуче ей закричали архаичное:

– Grüß Gott!

«Ради этого стоило пострадать от сарделек, чтоб сюда прийти!», – улыбнулась Елена, с наслаждением подыскивая языковой эквивалент: приходишь, эдак, в Москве в школьную столовку, а тебе там буфетчица тетя Груня, вся в белом, кричит из-за прилавка: «Бог в помощь!»

Удобно уселась в середине зеркального зала и, с жадностью наблюдая, как за соседним квадратным дубовым столиком как минимум столетняя дама в серенькой шляпе в черный горох, в изящном сером пиджаке с юбкой, в сереньких капроновых колготках и в отчаянно белых кроссовках, флиртует с бородачом-ровесником, сидящим за столиком у лессированного солнцем окна во всю стену – не переходя друг к другу, они оба получали явственное несказанное удовольствие от энциклопедичного обсуждения необычно жаркой нагрянувшей на прошлой неделе погоды, – Елена, наконец, дождалась двух только что испеченных крестовых зэммэлей, с пахучей корочкой, проваливающейся под пальцами, и с вишневым конфитюром и чаем с двойной заваркой (удивительного пепельно-цитрусового привкуса), и накинулась на все это, как будто с месяц уже ничего не ела.

Смешливый белобрысый курносый официант, чуть старше Елены, подстриженный бобриком, успевал только удивляться, в восторге притаскивал безразмерный этюдный ящичек с круглыми акварелями джема, с ироничной чопорностью распахивал крышку, давал ей ткнуть

пальцем, как кистью, выбирая сорт – черешневый, абрикосовый, вишневый, малиновый – потом снова грохал ящик на сервант, профессионально вспарывал острым серебром плоть зэммеля, а потом доливал чая, а затем уже просто подплескивал кипятка («Darf ich Ihnen gleich direkt in Ihre Tasse nachschenken?»), выставив перед ней овальный стаканчик с пакетиками несуществующего в Советском Союзе чая Earl Grey, вызывавшего во всем теле несказанное блаженство необъяснимым, действительно блаженно-сероватым бергамотовым запахом; и утаскивал на кухню очередную разделанную тарелку с салфетками и крошками. После третьей чашки, из кухни к ней подплыл толстяк-хозяин чайной и довольно сообщил ей, что все остальное – за счет заведения.

Еле выйдя из-за стола и постанывая от наслаждения, повторяя не к месту «Grüß Gott!» подмигивающим ей молоденьким официанткам с одинаковым сверкающим янтарным руном перманента, она вынырнула опять на Мариен-платц, зашла в блаженно пахнущий свежей бумагой многоэтажный книжный, жутко растерялась от туристической толкучки, и – от растерянности, неизвестно зачем – рассмеявшись, при входе же, в шутку, купила себе роскошный огромный альбом с неизвестными фотографиями «Битлз» – в память об отживших свое апостолах детства – Джоне и Поле – тут же выскочив из магазина наружу и через минуту же забыв о болтавшемся в руке пакете с альбомом.

Улизнув в приток площади, и догнав, против течения, Театинэр-кирхе, зависла в прилипших к алтарю и стенам туманам, опять наслаждаясь странным эффектом просвечивающей сквозь проеденный временем торс барочного Луки бестелесности.

Выйдя снова на солнце, подумав: «Как странно, наверное, Театинэр должна выглядеть сверху – вытянувшаяся таким ровным крестом!», промотала на быстрой скорости по-имперски неуютный, громоздкий и чересчур геометричный парадный сад, набрела вдруг на водопад – и пыталась докричаться до проносящейся мимо на велосипеде сгорбленной коренастой баварки: «Это Изар? Это Изар?»

Та обернулась на нее через плечо, как на ненормальную, и пискнула: «Айзбах!».

Вместе с водопадом и ручьем Елена впала в английский парк: каждое деревце уже тыкало мириадами смарагдовых стрелочек, приглашая прогуляться в самые разные опупевшие направления, сводя с ума педантичных прохожих; конские каштаны и вовсе мускулисто зажали руки в кулак и грозили нереально гигантскими почками размером с каштан. «Неужели у них каждый год вся эта роскошь так рано вытаскивается из ларцов – или это – пожарная спешка после урагана?» – Елена уже почти бежала дальше, подстанывая от нетерпения, завидев что-то совсем уже невозможное. Звездистая, необычная, как будто маникюрными ножницами по лепесткам мелко и остро нарезанная белая магнолия. Едва, едва распустилась! И уже устраивала удивительный, невесомый локальный снегопад легкими хлопьями. И, как оказалось при приближении носа к сугробам – изумительно пахла – почему-то ментолом. Пытаясь понять, что же это за типчик такой торчит, вон, с приятными, щепоткой большого, указательного и среднего вылепленными, веретенками почек, Елена начала искать под голым деревом прошлогодних удостоверений личности – но натыкалась на пахучей земле то на скукоженные самокрутки граба, то на фигуристые векселя и расписки дуба – и со смехом поняла, что ветер давно уже произвел подлог документов. Бук? Или не бук? – вот в чем вопрос. Рядом липа, утеплившаяся, почему-то, с южного бедра мельхиоровым мхом, отцеживала циановый небесный чай в тонко вырированное, очень частое, изящное черное ситечко. Кто-то здорово обманулся: одна из нижних веток (судя по пеньку – всего-то сантиметров семь в диаметре) была грубо обрублена – но взамен липа с этого боку с вызовом выпустила уже как минимум четыреста крепких свежих побегов, настойчиво тянущихся вверх. На соседней, громадной уже, липе (настолько громадной, что казалась бесконечной, детально разветвленной лестницей в небо, ведущей, причем, сразу во всех направлениях, и – закинув голову вверх и взбираясь взглядом все выше, – Елена чуть не опрокинулась на мураву от вертиго) притулилась в просвете ветвей миниатюрнейшая

пеночка с карминной грудкой и красным, загорелым личиком, как у Марги – и, разевая клюв в диапазоне чуть ли не больше себя самой, зримо вздымала над собой солнечную перину небес заостренными стрелками звуков, – с медитативным терпением в паузах ожидая, не подхватит ли кто из соседних кустов. Подхватывали: но скорей подскрипывали, и никто не дотягивал до заранее заданной чистоты. С вызовом, всё увеличивая певческий задор и помогая звукам всем миниатюрным тельцем, и даже хвостом, – дрожа при аккордах каждым легчайшим игрушечным перышком, – птица взяла еще пару недосыгаемых мелодических высот – и не дождавшись отклика, вспорхнула, стартанув, как на катапульте, и растворилась в воздухе.

Уже подвывая от своей неспособности быть адекватной торжеству соседнего граба, вывесившего свои полоумные украшения, Елена обошла его со всех сторон, набожно, не дотрагиваясь, и, наконец, подобрала пароль – как насладиться представлением: забежала в его тень, и, прохаживаясь туда-обратно, как будто невзначай поворачивала взор к полуденной стороне – прокатывая огненные пальцы солнца за сонно растопыренными пальцами веток с нежно фисташковой пряжей сережек: пряжей, опаленной по диаметру светила – с горящим клубком-маятником в сердцевине. Мотавшим, в зависимости от ее шагов, то справа налево, то слева направо. Откуда-то из-за кулис ветвей крошечный невидимый свистун внятно, с расстановкой, подпискивал: «Тебе-тебе!... Тебе-тебе!... Тебе-тебе!»

Елена все удивлялась, какой же он, этот аглицкий парк, длинный, брела и брела вдоль ледяного (не обманувшего название) бурливого Айзбаха: быстро скинула кроссовки и стянула носки, присела на край мостика, миг поболтала в воде ногами, и сейчас же выдернула обратно красные ступни. Смирная немецкая овчарка, каряя, с широкой черной полосой по хребту, с некупированными ушами лопушком, забежала вперед нее, изловчилась и стала спускаться к ручью по обваливающемуся и оползающему под каждой из квартета ее лап глинистому склону, потом с извиняющимся видом оглянулась на Елену, и вошла в ледяной поток, намочила ноги и пузо, смущенно полакала воду, и сразу одним прыжком выбрызнула из рва, как ошпаренная, наверх, на траву, где принялась яростно отряхиваться, фонтанируя по кругу во все стороны, превратившись на секунду в солнечного радужного дикобраза. Вместе с этой, непонятно чьей, мокрой овчаркой повернула обратно, перескользнув по узкому мостку; псина, по-девичьи присев, тут же, старательно пописала на дорожку, после чего с видом исполненного гражданского долга, сигнализируя Елене флашштоком хвоста, побежала вперед по своим делам.

На лужайке с частыми кочками лошадь черного шоколада, в белых носках на задних ногах, объезжала сутуло сидящего на ней мешком фрица в каске.

Черный лабрадор, с противоположной стороны дорожки, переходя по поляне от одного землекопского конуса к другому, сосредоточенно караулил у входа в норы и бил лапами кротов. Без всякого видимого успеха.

Разморенная буколика, Елена упала на лавку, на самом солнцепеке, наблюдая, как лупоглазая утка в метре от нее, щеголяя прекрасной выделки узорными перепонками на лапах, хищно и систематично, на непрекращающихся оборотах, вытянув вперед шею, как комбайн, цокает мошек в траве.

К ней на скамейку, с самого краешку, как бы нехотя, как бы раздумывая, подсел невысокий осанистый благообразный крашеный в каштан старик лет пятидесяти в прекрасно сидевшем темно-синем костюме и чуть заостренных дорогих кожаных туфлях, цвета и рельефа мытых дождевых червей, с простроченным зигзагообразным узором вокруг шнурков. До этого он дважды встречался ей на пути – туда и обратно, прогуливался в одиночестве, исключительно по асфальтовым дорожкам, и опасений никаких своим внешним видом не вызывал. Сейчас, бегло взглянув на альбом, который Елена разложила на коленях, тот сиганул с места в карьер:

– Здравствуйте. Я – партнер в издательстве Бертельсманна. Не плохой день, не правда ли? Не поужинать ли нам сегодня вместе?

Елена, брезгливо поморщившись и взяв альбом подмышку, как термометр, поднялась с лавочки.

– Дитя, вы меня неправильно поняли: давайте на секундочку поднимемся к моей машине – это вот там, в двухстах метрах отсюда, у меня там в салоне интереснейшие альбомы и журналы, которые я вам могу показать! – не отставал старикашка.

Не говоря ни слова и только с жалостью оглянувшись через плечо на недосмотренную, недовольно крикнувшую от кутерьмы утку, Елена галопом вынеслась из парка, и не сбавляла темп, пока не хлопнулась отдышаться на ступеньку к хоть и рыжей, но надежной Театинэр, тут же злобно вспомнив анекдот:

– Здравствуйте, я Семен Израилевич Чингачгук!

Расстроилась, и вернулась опять на Марципанэн-платц, борясь с судорогой омерзения.

На углу с Кауфингэр штрассэ камерный оркестр плавно играл канон приторного Пахэль-беля, под звуки которого пухлявые мальчики, безжалостно приканчивавшие в центре площади драконов, приобретали особый, драматически диссонансный смысл.

Елена дошла по ниточке звука, наклонилась, звонко кладя монетку в уже наполовину полный мелочью раскрытый футляр от скрипки, и в ту же секунду обнаружила себя жадно схваченной в охапку Кудрявицким:

– К-как ха-ха-хорошо, что я тебя встретил! Пойдем скорей со мной в К-к-кайфхоф! Там па-патрясающая распродажа! Я специально с уроков свалил!

– Что за Кайфхоф?

– Да не кайф, а Ка, ка, кауф-хоф – вот, прям здесь же у тебя под носом! Ты что не ви-ви-дишь? – возбужденно ораторствовал Кудрявицкий, сдирая согнутым указательным пальцем коросту с вечной лихорадки над верхней губой.

Подняв глаза, Елена прочитала коряво озвученное название.

И заодно заметила отвратительно нырявшие и выныривавшие под ним, в универмажное жерло – и вон из него, стада.

– Нее, Матвей, ты что, сбрендил?! Ты посмотри на всех этих людей! Я туда не ходок.

– Ну, п-п-пайдйом, п-пажалста, я тебя прошу! Ты мне должна посоветовать, как девушка, что ку-ку-пить! Мммменя мммама просила!

Почувствовав себя в за-за-падне, Елена отважилась, шагнула внутрь, и, поставив себя как украшение на движущуюся гирлянду, начала продвигаться на эскалаторе в верхние этажи, проезжая одну за другой, по очереди, идиотические жизнерадостные надписи: «Мир Носков!», «Мир Галантереи!», «Мир Ботинок!».

– Чёй-то у тя там? Покажь! – заметил Кудрявицкий у нее в руке пакет с альбомом. И тут же, как только она этот гигантский альбом вытащила, углядел на обложке крошечную, прямоугольную, с округленными углами белую бирочку с ценой, раззаикался: – Ну ты, м-м-мать, са-са-самсем т-т-таво! Т-т-такие деньги на фа-фа-фотографии прос... прос... просадить!

Докатились до «Мира Неглиже» в бельэтаже, и вляпались в бесконечные дюны бюстгалтеров и зыбучие пески пластиковых корыт, в которых с кабаньим остервенением рылись профессионалы-добытчики, выбрасывая на пол копытами скелеты убитых вешалок, нецензурно уцененные трусы, комбинации, майки и прочий разноцветный мусор белья – а при приближении на вытянутую руку – обрыгивали чистейшим русским матом.

– П-п-посольские раб-б-ботнички, неб-б-бось! Или жены ш-ш-ш-п...п...п... – шепотом пробарабанил Кудрявицкий Елене в ушную перепонку страшную догадку.

И тут же заметил в давке чрезвычайно беременную, богато одетую соотечественницу, одной рукой придерживающую живот, а второй бойко работающую, как саперной лопаткой, разгоняя демонстрацию наглых конкурентов на пути к пластиковому судну с уценёнкой:

– Ты смотри! И эта... б... туда же! – язвительно проскандировал Кудрявицкий, причем часть букв в его фразах явно застревала от предыдущих заиканий. И тут же замялся в нерешительности: – М-м-мне б-б-бы ч-ч-ч-нить для мужчин...

– Как?! – разозлилась на него Елена. – Ты же мне сказал тебя «мама просила»?

– Т-т-т-ак мамама мммменя п-п-просила для м-м-м-меня ссссамого ч-ч-ч-нить купить! – оправдывался он.

Елена подозвала продавщицу и спросила: «Что-нибудь для мужчин?»

Та, с ходу разгадав эвфемизм, завела их на следующий этаж – в топи мужских трусов.

– Ддааа нннет! – ораторствовал Кудрявицкий. – Мммне ч-ч-ч-нить эдакое, м-модное! Джинсы, например!

Продавщица послушно отвела их в бычий угол Ллевиса.

Кудрявицкий хватанул с полки первые попавшиеся ковбойские шаровары, приложил к себе:

– К-к-красота!

Но тут же, заметив на заднице штанов ценник, разорался на весь этаж:

– Оббборзели совсем! За такое уродство! Сто пятьдесят марок! Джинсы должны сто-сто-стоить десять марок! А не сто!

Мутно поморщившись от духоты, и суматохи, и какой-то вынужденной концентрации на тошнотных ненужных деталях, Елена посчитала, что ее миссия уже выполнена, и начала дезертирски прощаться с Матвеем.

– Кк-х-харашо! Кх-харашо! Пошли отсюда вместе! Только давай за-зайдем пожрем чего-нить срочно! Я ничего не ел с самого за-завтрака! Ну сходи со мной, пожалуйста, раз уж встретились!

Заехали на верхний этаж, где кишело людьи широкое кафе, с дюжиной шведских столов, завлекая огромной подозрительно экклезиастической перетяжкой: «Essen, trinken, genießen!».

Воняло капустой.

– Когда люди едят, Матвей, это вообще ужасающее зрелище. Но когда они едят зловонные голубцы с мясом в протухшей зауэркраут – это уже фашизм, я считаю. Давай не пойдем туда! – запаниковала Елена, указывая на угрожающую тетку в ярко-красной куртке и с такого же цвета мордой, попиливающую еду на тарелке с таким злым азартом в глазах, как будто резала поросю.

– Ну, ну, ну! Давай зайдем уж! Раз пришли уж! Чего уж! – втаскивал ее внутрь мясоедской ярмарки, от близости еды вдруг разом перестав заикаться, Кудрявицкий.

В углу добрый глава семейства, кабан с фальшивой посадочной полосой лысины посреди (лысый на меже, бритый с каемок), с бесцветными рыжевато-тараканьими ресницами и почти отсутствующими бровями (щедро замещенными мясистыми складками кожи), хавал лапами курицу, громко высасывая волокна – а ребенок с противоположного угла стола (поросенок лет семи, но с еще человеческими глазами) с ужасом смотрел в этот раззябистый жирный трясущийся рот. Мать – опрятно уложенная платиновая блондинка, с розовой вуалью полопавшихся сосудов на щеках, доедавшая картофельные дольки, обмакивая их в лужу кетчупа – расщедрилась и отлила сыну бычьей мочи пива из кружки в белую чайную чашку. Тот присосался и заурчал.

– Все Матвей, извини, меня ща стошнит, – отвернувшись от пасторалей Елена и побежала к выходу, чувствуя удушливый, предобморочный пароксизм уже до боли знакомого секулярного передозира.

Уже стремглав скача вниз по эскалатору, сбивая людей с рожающими пакетами, пере-скакивая с одного конвейера на другой, она истошно вопила на догонявшего ее, ни в чем не повинного Кудрявицкого:

– Это же геноцид! Надо запретить детям смотреть на морды родителей! Иначе все безнадежно! Смерть! Фаршированная! Это же геноцид – когда из поколения в поколение взрослые

хари выделяют точно таких же себе подобных животных! Кто им разрешил?! У рода человеческого нет ни одного шанса, пока это так!

– Чёй-то меня тож подташнивать там уж начало. Наверно, тухлятина какая-нибудь. Кака-капуста, да. Пошли они все! Ты права, уроды, – умиротворительно поддакивал Кудрявицкий.

На улице, вывалившись из Кауфхофа, врезались в лоток с кондитерскими штучками, одна из которых – прозрачный пластиковый ящичек с шоколадными холмами – имела название «Negerköpfchen» – «Головы негров». Пропустить такое совпадение и не похвастаться потом вечером Крутакову по телефону Елена просто не могла: заплатила тут же стоявшей девушке в цветном колпаке. И распечатала упаковку.

Схваченная ею шоколадная голова обидно продавилась под пальцами, обнажив абсолютно белую начинку из суфле. У негров явно были на уме одни яйца.

Пришлось всю коробку всучить Кудрявицкому.

Она спустилась с ним в прозрачном лифте, проводив до входа в Эс-Баан.

– А ты со мной п-п-почему не поедешь?

– Я погуляю еще пойду.

– Смотри! Ай-яй-яй! – погрозил ей пальцем Кудрявицкий с какой-то шкодливой догадкой в глазах, налепляя себе под нос, поверх струпа лихорадки, выведенные из суфле усики фюрера в негативе.

– Завтра у Ани Ганиной день рождения, ты помнишь?

– Еще бы! Я ж пе-петь буду! – приосанился Кудрявицкий, и залопал целиком еще одного негра.

– Ну, увидимся тогда завтра в гимназии.

– Увидимся, если меня за ж-жопу в электричке не схватят! – сострил Кудрявицкий. И на прощанье продемонстрировал ей свое ноу-хау: многоразовый билет – всунул в компостер, штамповавший дату и время, уже использованный билетик:

– Ну а если меня вдруг спросят контролеры: «Что это у вас там так жирно все?», я скажу: «А там что-то у меня не четко пропечаталось в первый раз – и я решил для порядку еще раз в компостер всунуть!» – с наслаждением, по ролям, меняя интонации и лица, разыгрывал воображаемую сценку в вагоне Кудрявицкий.

Летя вверх в одном подстаканнике с двумя улыбчивыми загорелыми женщинами, приголубливавшими двух ласковых скрюченных имбецилов в инвалидных колясках, Елена услышала сверху оглушительную шарманочную музыку – и, выплеснувшись на площадь, увидела, что попала ровно на вечерний сеанс выгула мармеладовых крашенных фигурок в гнезде башни.

Выживая из дуршлага ушей звон и клецки заводной мелодии, задрав голову вверх, и наблюдая резвые танцы украшений для торта, она стояла на краю Мармеладэн-платц, за золоченой статуей, и почему-то думала: странно – Анастасия Савельевна, растившая ее с таким трудом, прежде (после смерти Глафиры) нянчившаяся с ней днем и вкалывавшая по вечерам, читая лекции для рабочей молодежи в вечернем институте – и только потом – когда Елена повзрослела – перешедшая преподавать в институт дневной, – часто вынуждена была занимать деньги, чтобы дожить до зарплаты. Тем не менее, считать деньги и экономить у них почиталось всегда за крайнее, постыдное плебейство.

А уж когда деньги были – тратила их Анастасия Савельевна с королевской широтой и щедростью – и хлебосольство ее, когда приглашала в гости друзей и учениц, не знало границ.

Часто, после этого, денег не было совсем – и тогда они с Анастасией Савельевной шли на поклон в кухню к узенькому, в самом углу застрявшему, крошечному высокому тумбообразному столику, который они между собою почему-то всегда называли «рабочим столиком», в выдвижной ящик которого, рядом с ржавыми старыми ножами, до этого, будними, беззаботными днями, ими скидывалась вся никчемная, не нужная, только оттягивавшая карман, мед-

ная мелочь: все копеечки, двушки и трешки; и столик, как преобразившийся после воскресения Нищий, которому они не пожалели медяка на паперти, вдруг оделял их несметными богатствами – щедро раскрывал им свои объятия и принимал в вечные обители: однажды удалось набрать по копейке баснословную сумму в 2 рубля 60 копеек, и купить «выброшенную» в абсолютно пустом голодном Гастрономе в честь открытия в Москве партийного какого-то мероприятия, на один день, осетрину горячего копчения – крошечную порцию, завернутую в промасленную вощеную бумагу.

И ни у одного ангела не повернулся бы язык рассказать в тот момент ей, маленькой, правду про то, как паскудные скоты в Астрахани ловят осетрину на живого угря, а потом вспарывают рыбе, живой, кишки, выпотрашивают икру, и оставляют в агонии умирать на берегу. Блажен, кто и скоты милует. Но некоторых двуногих скотов, когда себе это представляешь, все-таки хочется удавить.

Досмотрев заводные пляски пивоваров, пировавших во время средневековой чумы, и тем ее, вероятно, и ухайдакавших, Елена рискнула сплавиться теперь с площади по течению в правых протоках.

В ближайшем из переулков она наткнулась на фургончик на колесах, с домашнего вида шторками с рюшами в окнах, и амбициозной, светящейся пестрой дугой, вывеской: «Jeans Palace». Поднявшись, с детским любопытством, по деревянным, приставным, ступенькам «дворца», она тут же была встречена накрученной на разноцветные бигуди бойкой смехотушкой в желтом махровом халате, с какой-то клубной мелко вышитой эмблемой на кармашке: девица распахнула дверь, вылетела на порог, закатила глаза кверху, и звонко объявила кому-то: – Ja mei! Ну наконец-то! Первый покупатель!

Подруга ее, девица с золотыми косами до пояса, со вплетенными в них узкими шелковыми голубыми лентами, сидела внутри справа прямо при входе за накрытым свеженькой белой бумажной салфеткой откидным столиком, и пила чай, жадно втягивая, обжигаясь, кипятком, с присвистом. Елену она поприветствовала сначала только уголками глаз, а потом (наскоро глотнув и весело сморщившись) – и розовощекой улыбкой. Косы удобно лежали по обе стороны, как ворот, на ее кремовой рубаше с высокими манжетами, расписанной огромными карминными пионами.

Джинсы самых немыслимых фасонов – от бриджей с фонарями и отвратных бананов и до антикварного клёша, как на Джоне и Йоке в альбоме в пакете, – были, словно декорации за кулисами театра, густо развешаны на плечиках с прищепками по стенам всего фургона и на хитроумных хромированных перекладах.

В центре ютилась примерочная кабинка с занавесом – для зрителя в этом вывернутом шиворот навыворот джинсовом театре отводился только примерочный метр на метр.

Елену, не спрашивая, препроводили в кабинку, задержав джинсовой материей в декоративных заплатках, с трех сторон, и начали навешивать сверху все новые и новые джинсы.

– А откуда ты приехала? – интересовался прихлебывающий голос блондинки.

– Скажи лучше, как это тебе удалось оттуда сбежать? – смеялись за пологом пестрые бигуди.

Елена растерянно топталась кроссовками по расстеленному в примерочной полиэтилену, пристававшему к подошвам, и удивлялась, как это ее так быстро взяли в оборот; не притрагивалась ни к одним джинсам, глазела на себя во весь рост в зеркало, прислоненное к стенке фургона, которое служило для кабинки четвертой стеной; и уже собиралась распахнуть занавеску и сообщить дружелюбным девицам, что покупать все равно ничего не собирается; как вдруг белокурая чаёвница, наконец, догадалась, ее спросить:

– А сколько ты хочешь, чтобы джинсы стоили?

Опешившая от продавецкого напора, и не имея ровно ни малейшего понятия ни о каких ценах, Елена, невольно на автомате повторила Кудрявицкую белиберду:

– Мне только что одноклассник сказал, что джинсы должны стоить десять марок. Я, вообще-то, только посмотреть, честно говоря, зашла... Мне фургончик понравился. Вряд ли я...

Девушки за занавеской добродушно захохотали, потом о чем-то пошушукались, а потом бигуди самым серьезным тоном выдали:

– Ну, за десять марок я тебе могу Levis 501 продать. Так уж и быть. Я вчера их сама для себя купила, но мне они слегка длинны. А ты длинноногая – тебе как раз будут, – и разом свалив с перекладины занавески все наваленные до этого груды портков, ловко закинула туда Елене внутрь новенькие, крепкие, ненадеванные, с неоторванной чайного цвета картонной эмблемой джинсы.

– Нет, нет, зачем, не надо! А вы как же? – моментально раздернула Елена шторку, выскочив из примерочной и собираясь немедленно уйти из фургона.

– Бери-бери! Не обижай меня! Я же вижу: твой размер! – сувала ей товар в руки продащица, успевшая тем временем распустить бигуди, прочесать и сбрызнуть высоко взбитые каштановые кудри вкусным лаком, сменить свой халат на джинсы-стрейч (смешно контрастировавшие с классической черной юбкой до полу ее смачно чаепитствующей подруги) и футболку, и нацепить на шею ожерелье из искусственного жемчуга. – Ты наш первый покупатель! – повторила она. – Нужно, чтобы ты ушла счастливой!

Елена спустилась со ступенек фургона абсолютно обескураженной, со вторым, левисовским, пакетом в руках. Оглянулась: блондинка в юбке со складками до полу невозмутимо доливала себе кипятку в кружку из белого электрического чайника и купала пакетик.

Прошла несколько улиц вперед, завернула, выскочила неожиданно на Одеон-платц – потом поняла, что все-таки чувствует себя неловко, как будто бы получила эти джинсы даром – и решила вернуться и отдать их. Промаяхнулась проулком – видимо свернула раньше, чем надо, не доходя Мариен-платц – и фургончика не нашла. Вышла на Мариен-платц, попыталась еще раз, оттуда, повторить свой путь, и зайти именно с той стороны, откуда первый раз вышла к магазинчику на колесах – но только окончательно замоталась в клубке незнакомых улиц – а фургончика как будто и след простыл. Сколько она ни пыталась прохожих, названия магазина «Jeans Palace» никто не знал. «Надо же. Усвистали куда-то уже», – растерянно подумала Елена.

Запахавшись от этих странных поисков и возвратившись на уже темнеющую Мариен-платц, и припав к киоску с открытками и картами, в ужасе каком-то, выпросила у любезной лохматой тетюшки с пергидролевыми перьями, в голубом свитере-безрукавке – зябшей, и шумно дышавшей себе на руки, а потом потиравшей предплечья, – как пройти в абсолютно другую директорию (стараясь выговорить «Orthodoxe Kirche» с подхваченным, как простуда, мюнхенским квохчучим говорком), и тут же получив взамен точные детальные указания, помчалась туда, со свежими силами, твердя, как псалом: Рэхьтс, гэрадэаус, линкс, рэхьтс. Рэхьтс, гэрадэаус, линкс, рэхьтс. Рэхьтс, гэрадэаус, линкс, рэхьтс, – и в этом месте, сворачивая с Мариен-платц за угол, подумала, что логично было бы ходить по незнакомому городу не по картам, а по чёткам, причем разделенным на главки, чтобы не запутаться по кругу.

Х

Лазорево-сливочный худосочный трамвай, с номерком во лбу и ярким фонарем в рыльце, сворачивая слева из проулка Маффай дугой на Театинэр штрассэ, нес себя легко, скоро и почти беззвучно, чтобы не расплескать, и чтоб ни в коем случае – ни-ни, язык за зубами – не звякнуть и не показаться старомодным. Сзади по рельсам, криво поскальзываясь на брусчатке и хлюпая носом, бежал изумрудовласый панк в черной косухе с тяжелым скейтбордом в правой красной обветрившейся руке, догоняя крайний вагон; догнал – на самом повороте (когда

трамвай невольно замедлил ход), и принялся за что-то его со всей силы звучно лупцевать доской, навзрыд при этом рыдая.

Пережидая трамвай и панка, Елена заметила крайне неприятную табличку на завороте рельс: «Опасность несчастного случая», с еще менее приятным, а прямо-таки наглым под ней рисунком раздавленного человечка. Носитель зелёночного ирокеза тут же доказал реалистичность местных комиксов: шлепнулся на брусчатку – после наиболее мощного удара по корпусу трамвая, упустил вскочившую на ролики и покотившуюся под уклон под колеса доску, заорал; дернулся было за ней; но потом все-таки с необъяснимой мудростью решил побереечь ирокез – и, когда трамвай прокатил мимо, и обнаружилось, что скейтборд остался в живых, герой утер слезы и, крайне удовлетворенный происшествием, подхватил дитяню под мышку и потащился по рельсам в обратную сторону.

Перейдя трамвайные пути, Елена тут же с изумлением увидела на некотором отдалении марширующего ей навстречу, вприпрыжку, по Театинэр штрассэ оболтуса Фридля, а затем и Лило, и Мартина: Фридл поражал воображение друзей, эффектно зашвыривая вдоль по Театинэр скользкую кожуру от сожранных бананов – с таким подвывертом, чтоб шкурка пролетела над плитами как можно дальше, и обязательно угодила кому-нибудь из прохожих между ног.

«Интересно, и Катарина моя с ними приехала?» – подумала Елена, быстро отворачиваясь к витрине и проныривая за плоскими колоннами магазина.

Впрочем, компания была так увлечена банановым боулингом Фридля, что она и так могла быть уверена, что разминётся с ними незамеченной.

Гэрадэаус, линкс, рэхьтс, – повторяла она оставшуюся часть псалма, и еще раз экзаменовала себя, правильно ли она отсчитала и отбраковала проскороговоренные ей киоскершей строфы ненужных ей поворотов: Фильзерброй-гассэ, Шэффлер-штрассэ, Маффай-штрассэ – по ее подсчетам, желанный переулочек должен был быть следующим. Но все тянулся и тянулся квартал магазинов, и сомнительного кокетства бетонные шайбы строили свои смыкающиеся анютины глазки посреди пешеходной улицы. Наконец слева наметилась прореха переулка, Елена нетерпеливо туда нырнула – даже не проверив названия – продралась сквозь бодучее стадо припаркованных велосипедов, и уже только потом вскинула голову на бегу и заметила искомую вывеску: «Зальватор штрассэ».

И в уже загустевавшем ночной синеве, резко холодеющем и тяжелеющем мюнхенском воздухе, с замеревшим от счастья дыханием, разглядела, по правую руку от себя, бледно красную греческую церковь.

Казавшуюся, увы, насмерть запертой.

Никаких подспудно ожидаемых ею русских луковок не было. Кирпичная кирха, очевидно, доставшаяся грекам по наследству то ли от католиков, то ли от протестантов, выделялась среди присоседившихся зданий строгой готикой, стрельчатыми окнами с темными витражами во всю высь, карминовой, черепичной, круто взламывающей саму себя, устремляясь в вертикаль, крышей и стройной колокольней с нацепленным (видно, на ночь) длинным острым колпаком с крошечным золотым пумпоном на шпилье и скромным простеньким опознавательным знаком.

Со стоном: «Ну неееет, ну не могу же я так уйти отсюда?!», не понятно к кому обращенным – явственно представляя себе свою муку на обратной дороге, если церковь окажется закрытой – она приложила ладонь к шершавой кирпичной кладке на стесанном граненом углу храма на перекрестке.

Сквозь лиловато-темные стекла не просматривалось никаких признаков жизни внутри.

На мостовой, под ногами, монашек с мюнхенского герба на медной круглой геральдике то ли со вздохом разводил руками, то ли, наоборот, открывал ей дружеские объятия.

Пойдя по направлению, указанному правой рукой монашка, огибая церковный угол справа, она наткнулась на запертую дверь с подозрительной медной табличкой «приходское

бюро» и медной же пуговкой абсолютно немого звонка. Двинув обратно, и обойдя кладку, вышла к казавшимся центральными, некрашеным, дверям – настолько глухим, что даже пробовать их толкнуть казалось бессмысленным. Торкнувшись, на всякой случай, Елена с тем же, усиливающимся, стоном продолжила огибать здание по часовой стрелке. И вдруг вернулась – и еще раз, с усилием поднажала дверцу, которая нечаянно оказалась отпертой и впустила ее внутрь темного храма с серыми (если не считать едва заметного на стрелах окон охряного подтекста и проступающих кой-где из-под краски кирпичей), горелыми готическими сводами, как будто внутри долго жгли гигантскую свечу.

Свечи – впрочем, настолько маленькие, в сравнении с готической высотой собора, что снаружи не было видать ни всполоха – пылали в самом дальнем от алтаря, юго-западном углу, и стояли по щиколотку в воде – на удивительном, не песочном, а водном столике с сотами подводных креплений для остова свечей, – и храма не только не освещали, но, казалось, оттягивая на себя все забытые где-то по сусекам остатки света, даже еще больше сгущали сумрак перед далеким каноническим ортодоксальным алтарным иконостасом.

Резные, пустые, с кружевными воротниками старинные деревянные лавки, сгрудившиеся двадцатью плотными рядами по обе стороны от центрального прохода к алтарю, казалось, замещали собой отсутствующих прихожан. Елена никогда еще не была в церкви совсем одна. Прошла нерешительно к Царским вратам и села на ближайшую лавочку.

Брошенные рядом, как балласт, на плиты, пакеты теперь как будто воплощали собой весь внешний кошмар, из-за которого она сюда и прибежала за защитой, как в бомбоубежище – в греческой оторопи запирает ворота. Как будто все эти трения с оголтелыми, озабоченными жратвой и покупками телами, вся эта бушующая кругом наглая материя и бессовестная матерьяльность, вроде бы игровая для нее, вроде бы несерьезная, и поверхностная, визитерская, туристическая, не впускаемая под кожу, – тем не менее, вдруг будто украла у нее половину внутреннего пространства – и теперь ей было тесно и страшно и внутри себя.

Она вспомнила, как Татьяна рассказывала ей о первых братьях, собиравшихся в катакомбах или секретно у кого-то в доме: не было тайной исповеди – каждый выходил на середину и громко исповедовался перед всеми братьями в каждом грехе; и жгучий стыд, который она, Елена, испытывала, каждый раз в Москве, в церкви, в Брюсовом, выходя на середину и беря себя на слабо, взвешивая, и представляя, что сейчас ей посреди народа нужно будет признаться в каждом своем грехе, яже в слове, яже в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже в уме и в помышлении, – этот чудовищный стыд был залогом того, что именно эта, древняя практика верна; но где же здесь, в центре Мюнхена, найти этих братьев, которые бы ее услышали? Она встала, подошла к алтарю, робко повернулась к пустой церкви, проверяя себя, представляя, осмелилась бы она вот сейчас, вот здесь, как на духу, упасть на колени и громко и ясно проговорить всё, дословно, добуквенно, всё, что натворила, всё, что накопилось, накопело на ней, с момента крещения, и что теперь мешало дышать – будь здесь ее братья и сестры, преломляющие с ней в простоте и радости, как в каком-нибудь тридцать третьем, тридцать пятом году, от Рождества Христова, хлеб?

И потом встала лицом к Царским вратам – и вдруг появился в ней другой образ, повергавший ее в трепет каждый раз, когда она подходила к тайной исповеди, но, одновременно, наполнявший таким жарким счастьем – предельно реальное чувство, что все грехи на тайной исповеди она выговаривает напрямую, Богу – все, до последнего мрачного суетного пятна, всё, что заставляло ее отворачиваться от главного источника света в ее жизни, всё что нужно было пригвоздить словами и вышвырнуть из жизни. И пронзительное, стыдное, но одновременно счастливейшее осознание, что нет греха, за который бы Бог хотел ее наказать – а есть только чувство несчастья и мрака от всего того, что ее от Бога отдаляет, что мешает ей чувствовать Божье присутствие, ощущение которого было с такой щедростью даровано ей в момент крещения.

Вдруг слева от алтаря распахнулась дверь, которую она раньше в темноте не заметила, и вошел, вбежал, молодой, страшно худой монах, на котором коричневая ряса провисала как на изнеможенных постом костях; со ввалившимися щеками, как после нескольких бессонных ночей – тем не менее, шел крайне энергичным, целеустремленным шагом, направляясь, не замечая ее, в левую алтарную дверь.

Она рванулась к нему со всем отчаянием и буквально заорала – почему-то на русском: – Здравствуйте! Можно мне исповедоваться?!

Монах остановился. Вполоборота, как будто зависнув на полшаге, как будто намереваясь тут же идти дальше, если она не предъявит веских оснований, почему бы это он должен задержаться. Она подбежала к нему и онемела.

Монах поразил ее: всклокоченная недлинная борода, растрепанные короткие чуть вьющиеся усы; крутого, жесткого завитка черные взъерошенные волосы, ниже плеч забранные в косичку, и эти ввалившиеся щеки – пуще, чем у Темплерова, – и этот яркий, вызывающий взгляд исподлобья. И яркие глаза, разяще контрастирующие с до ужаса черными кругами вокруг них и впалыми глазницами, и изможденным лицом, как будто списанным с картин Ге.

«Он измучен, как будто и так тащит на себе всю тяжесть мира, от миллионной доли которой я, убогая, корчусь до невозможности дышать и жить, и ломаюсь на раз, – подумала Елена. – Как же мне просить его еще и взвалить на себя мою исповедь? На каком языке с ним говорить?»

Она не успела ничего выговорить.

Монах быстро перекрестил ее, благословляя. Замер на секунду. Которая показалась сияющим всполохом вечности. Открыл дверь и исчез в алтаре.

Она молча опустилась на скамейку.

Алтарная дверь, которая за ним беззвучно и плотно затворилась, была расписана жутковатой иконой Иоанна Крестителя: предтеча гордо, по-ангельски, возвышался с нимбом вокруг головы, а справа у ног его лежала его же голова, отрезанная пьяным блудливым Иродом – и теперь покоилась, словно ненужный больше рыцарский, земной, шлем. И то ли поэтому, то ли по какой другой причине, постучаться в эту дверь не было никакой возможности.

Пространство над резными Царскими воротами было наглухо задернуто тяжелой шторой.

Она подождала еще несколько минут. В алтаре было тихо.

«По-видимому, он вышел оттуда через какой-то тайный внутренний выход», – подумала она.

Подождала еще немного. Собрала валявшиеся на полу манатки, и тихо вышла из храма.

XI

На Мариен-платц, как-то разом почерневшей, было неуютно и страшно. На углу с Кауфингэр, где днем играли барочные скрипки, теперь сновало убористое автонасекомое, и поджирало за людьми мусор. За ним, родственный ему вид из семейства пластинчатоусых, полз на колесиках, плевался слюной и мыл двумя жгутиками мостовую шампунем. А лунатического вида человек с лисьими бакенбардами в оранжевой униформе с баллоном за спиной, едва удерживавший в черных резиновых руках угрожающе шипящую и вырывающуюся очень-очень узкую трубу, играл в сафари с черными кляксами от жвачек, настигал их и с садистским выражением лица отпаривал сжиженным горячим паром с тротуара.

Четверо школьников, спрятавшие от прожорливых жучьих челюстей банку кока-колы, с грохотом играли ею в футбол перед Кауфхофом, перед носом у уже откровенно охотившегося на них водителя голодной, и крайне маневренной, мусорожорки.

Даже на лифте кататься не захотелось. Сплывшись на угрюмо побрякивавшем и пахшем спортивным залом эскалаторе, а затем догнавшись, для полного неудовольствия, по сту-

пенькам вниз, к Эс-Баану, Елена впрыгнула в абсолютно пустой вагон. Поезд не отъезжал, не желая везти одного-единственного седока.

Через минуту ввалился в вагон контролер и, икая пивом, накренился к Елене: весь какой-то мокрый и землисто-серый, с ущербной, выпирающей, съедающей собой весь рот, нижней челюстью, и гнилыми зубами (коктейль, придававший его лицу что-то старушачье), и склабясь так, что посредине губы были сомкнуты, а в уголках рта красовались как будто две дырки от баранок, осведомился:

– Девушка, а у вас – билет есть? – и раскатился рыгательным: – Э-э-э-э-э-э.

Когда она, отворачивая лицо и стараясь не дышать, всунула ему под деформированную челюсть, как под компостер, свой билет на весь день, в дверях послышался молодецкий довольный гогот догонявших его нетверезых корешей, увидевших, как он решил разыграть пассажирку. Они с гулким хоккейным грохотом закатали вперед себя в вагон четыре чокающиеся друг о друга пустые стеклянные бутылки из-под пива.

Решив, что ехать наедине с такими контролерами в одном вагоне до Ольхинга – это не самая заветная мечта ее жизни, Елена перебралась в головной вагон – тоже абсолютно пустой, но где, пусть и за кофейными муарами затемненной дверцы, все-таки была хотя бы слегка видна фигура водителя – расслабленно курящего и эффектно стряхивающего пепел с сигареты на пульт.

Сев у окна, на ближайшее сидение, слушая, вчуже, уже потерявшие для нее от безмерной усталости всякую семантичность объявления курильщика в динамике, говорившего почему-то смазливый женским голоском, Елена приложила правый висок к холодной оконной раме и, выгоняя из зрачков расплющенное под стеклом изображение галлюциногенной пустой станции, незаметно для себя уснула.

Напротив лаял и вставал на дыбы рыжий сеттер со специальными помочами и поводком собаки-поводыря для слепых.

– Дэйзи! Прекрати немедленно! Тебя высалят из поезда! – визгливо орала на него вполне зрячая, чало-пегая хозяйка в сером дождевике с мокрым красным кончиком носа. – Высалят! – наклонялась она к псу и трясла на него своей длинной проседью, как ушами; и взидала потом с триумфальным видом на окружающих: вот мол, какого обормота на собственную голову вырастила!

Тот пытался перевизжать ее в ответ, на новом витке.

Вагон был полон.

Не вполне въезжая еще в реальность, и вяло пытаясь сообразить, проехала ли она уже Ольхинг – вычисление, которое сейчас никак не возможно было сделать по безнадежно темным окнам – ощупывая медленным взглядом пространство рядом с собой, Елена наткнулась слева, на расстоянии сонного локтя, на распахнутую амбарную тетрадь на красной пружинке – то ли с конспектами лекции, то ли с набросками непонятно чему посвящавшейся статьи – крепко прижимаемую с краев двумя судорожно сжимавшимися и передвигавшимися сверху вниз колки больших пальцев как закладки, мужскими руками; лежала тетрадка на чем-то (вероятно все той же мужской особи) заброшенном на подсобную ногу колене, в сильно потертых джинсах – и Елена, не задумываясь, как-то совершенно автоматически, стала читать немецкий текст, начиная с верха страницы:

«...выход. Поднять флаг – в знак освобождения. Носовой платок как флаг. Феномен внутренней концентрации – и, как результат, внешнее освобождение».

«При скачке должна быть подготовка и последующее заполнение. Подготовка – противоположное скачку движение. Заполнение – противоположное скачку продолжение. Мелкие длительности не должны встречаться на сильной доле. Ответ в реале, или...»

Она уже, было, хотела сказать: «Отодвиньте палец. Мне не видно дальше за вашей дактилоскопией!» – не веря своим полусонным глазам, что и вправду читает этот чудной текст, зву-

чавший, как будто какие-то шаловливые ангелы передразнивали и пародировали окружающую ее реальность. – И тут чей-то чрезвычайно тонкий нос с нервными крыльями ноздрей (вероятно, всё той же, тетрадной, мужской особи) чуть не клюнув ее, выехал ей на встречную полосу в воздухе и нагло, тихо, безапелляционно, и главное – совершенно безосновательно – заявил:

– Как не хорошо подсматривать!

– А что вы тут разложили свои... тетради! – полусонно попыталась она улыбнуться.

Молодой человек с выпиравшим из-под белой трехкамерной перекрахмаленной рубашки, не вмещавшимся туда, кадыком и прямыми, длинными, крепкой заварки чайными волосами, забранными сзади черной бархоткой в пучок, всем своим долговязым нервно натянутым видом говоря, что ему не до шуток, чуть приподнялся, дорос ветвями до багажной полки и ухватился за зачем-то засунутый туда, и уже конечно же мятый, концертный смокинг; и в этот же миг одним неловким движением освободил в воздухе уцепленную только за уголок передней обложки тетрадь, и та радостно пропорхнула всеми страницами – но сразу же была поймана, как птица, на его отложном манжете: подбросил, заставил сложиться и пружинисто зажал на ней замок кулака; потом все-таки брезгливо взял пиджак за горло, и направился к дверям.

– Грёбэнцэльт, – объявил опять удачно сменивший пол машинист.

Сеттер и седая дама, звонко твякающие друг на друга, выпрыгнули вместе с Еленой на следующей станции, в Ольхинге; но к сожалению, сразу же нырнули в нору под железнодорожными путями и пробежали в другую часть города, по направлению к гимназии – старая дама в дождевике, ухватившись за помочи, летела на псе, как на сёрфинге, отчаянно отпячивая пятую точку и крелясь всем корпусом назад, стараясь хоть чуть-чуть сбавить темп.

Трясаясь, скорее от холода, чем от страха, но для храбрости на всякий случай здороваясь за руки с кленами дошкольного возраста, только что высаженными в гуашевые глазки пахучего чернозема, и в спешке перебирая вокруг асфальт и плиты вымершего и вымерзшего города, Елена шагала в космическом одиночестве по темной центральной улице, готовясь свернуть линкс, потом еще раз линкс, потом пронестись гэрадэаус, и затем, шарахнувшись от шороха собственных кроссовок – рэхьтс, и, не попадая зубом на зуб, твердила самой себе: «Это ведь даже удачно, что такой колотун: так я хотя бы до дому дойду, не заснув на ходу! Никаких звонков сегодня Крутакову! И даже никакой ванны! Упаду и усну – как никогда не засыпала!»

Добежав до дому со сказочной быстротой и кошачьей ловкостью, не сбившись на удивление ни в одном повороте, и в темноте сразу опознав белый домишко с приятными фактурными какушками на фасаде, как будто его со всех сторон облепили сыром «Cottage»; она с оливковой беззвучностью вскрыла переднюю дверь выданным ей утром ключом, и тут же моментально нарушила данное самой себе обещание и схватилась греть руки об уютную искусственную шубу телефона. Не зажигая света, на ощупь, пристроилась под горой, на нижних ступеньках лестницы:

– Крутаков, ты не представляешь – в Мюнхене полно дебилов! – будящим саму же себя шепотом сообщила ему она, зажав трубку между плечом и, и так и так падающей, головой.

– Ну уж наверрррное не больше, чем в Москве, – обиженно за цивилизованную заграницу отрезал он.

– Да нет! Ты не понял! – чуть проснулась Елена и перехватила даже трубку в руку. – В хорошем смысле дебилов – их возят в колясках, и даже так просто выгуливают. Не знаю, почему-то это трогает. Я никогда такого в Москве не видела.

– Только это не дебилы, а дауны! Ну ррразумеется, дарррагая! А ты что хотела! В совке им же даже ведь паспа-а-аррртов не выдают. Сррразу прррячут в психушку и старрраются как можно быстрррей отпррравить на тот свет – как отходы благородной арррийской советской рррасы, – с упреком, как будто это она, Елена, была во всем виновата, заграссировал Крутаков;

и тут неожиданно, без всякого музыкального перехода напряженно спросил: – Ты когда уже возвращаешься?

– Что я, дни считаю, что ли?! – сонно фыркнула она. – Ну, в какой-то из дней на следующей неделе. А что?

Вспыхнул свет. Катарина нависала сверху с лестницы босиком, в пижаме, на одной накренной ноге, правую ступню косолапо грея на левой, и сползая руками по перилам, вниз головой, с глазами не хуже электрической совышки:

– Ты голодная? Ты замерзла? Развести для тебя асипилини? Сейчас я включу отопление! И ванну обязательно нужно сразу погорячее – я сейчас пушу воду! – сыпала она сверху предложениями, и откровенно суетливо радовалась, сбегая по ступенькам, что эта сумасшедшая не променяла ее на Франкфурт. В который ни сама Катарина, ни ее родители, да и вообще ни один из приличных, уважаемых людей, заслуживающих доверия, которых она, Катарина, знала, сызроду никогда не шастали.

Не поверив ни на секунду в историю про альтруизм джинсовых торговков, Катарина завопила:

– Как? Десять марок?! Да тебя просто обманули! – страшно взволновавшись из-за катастрофической непрактичности гостыи и взлетов разом всеми детскими морщинками. – Они наверняка стянули у тебя тем временем что-нибудь из карманов! Они просто ловкие карманныцы, эти твои торговки! Как их фургон, ты говоришь, назывался? Я немедленно позвоню в полицию! Где твои деньги? Тебя наверняка просто обворовали, и ты стесняешься мне сказать?! – приквохтывала она, кружась в своей дурацкой пижаме вокруг Елены и выхватывая ее пакеты. – Покажи мне немедленно свои деньги! Сколько у тебя осталось?!

– Не удивлюсь, если обнаружится, что они меня не только не обворовали, но еще и своих доложили! – рассмеялась Елена, и птички на лбу Катарины снова встревоженно и непонимающе взлетели вверх.

Когда же Катарине был не без гордости предъявлен битловский альбом, то она сначала заохала, как и Кудрявицкий, по поводу растраниженных денег, но потом как-то странно обрадовалась и успокоилась: в ее глазах эта «книга», похоже, стала той страшной, непомерной, разорительной для гостыи, но все-таки приемлемой ценой того, что та не пренебрегла их с Маргой гостеприимством и не умотала в какое-то неизвестное эмигрантское издательство.

Видение банановомётного Фридля в Мюнхене, о котором Елена намеревалась в красках рассказать Катарине, вдруг застряло в горле. Потому как стало Елене вдруг ясно, что Катарина не поехала с друзьями развлекаться из-за нее – не понимая, когда Елена вернется, и вернется ли; и на всякий случай ждала дома, вздергивая и подпрыгивая всеми своими птичками на лбу, и готовясь предложить ей хоть какую-то дружескую, совместную, корпоративную, «программу».

Никогда и ни по отношению ни к кому Елена еще не чувствовала такой физически непереносимой неловкости. Подарив Катарине специально привезенные из Москвы две тонкие тетрадки переводов на немецкий семидесятилетней давности русских поэтов, она поняла, что шершавые, приятно блеклые корешки никоим образом с цветастыми пластиковыми обложками видео-кассет в воображении Катарины конкурировать не смогут; а никакого другого применения (кроме как поставить на полку) этим странным штукам с буквами Катарина не придумает.

Не очень зная, какими гранями с ней можно коммуницировать – и каждый раз с дрожью боясь «свободного времени» дома, с обморочным ужасом вспоминая резвые настольные игры на картонке, Елена всячески пыталась отвести Катарину от идеи повторить это изысканное развлечение – и в то же время отдавала себе отчет в том, что Катарина на двести процентов человек достойный и хороший – просто из другой солнечной системы.

Как компромисс дружеского времяпрепровождения был выбран немедленный, полуночный поход в святая святых виллы – похожий на фабрику-прачечную подвал с несколькими

стиральными машинами, огромным прессом, электрическими сушилками и паланкином из развешенных на жирафообразных металлических стремянных раскладных конструкциях, не хуже, чем давеча в фургоне, вялеными прикидами: Катарина заставила Елену пойти наверх, в спальню, нацепить для примерки новые джинсы и тут же принести ей на стирку (постучать в барабан перкуссией молнии и заклепок) варенные-переваренные, купленные Анастасией Савельевой на не так давно появившемся в Москве «кооперативном» рынке у Рижского вокзала, за бешеные сто рублей, самопальные джинсы.

– Неси скорее все свои вещи! До утра высохнут, не волнуйся! Давай все постираем! – потребовала Катарина. – Не переживай! Маму мою даже залпом из пушки не разбудишь! – засмеялась она, увидев вопросительный взгляд Елены, зондирующий потолок.

Катарина выдала ей сумасшедшую детсадовскую ночнушку – до полу (только колпака не хватало!) и заставила опять бежать наверх переодеваться и принести «всё-всё-всё!».

На обратном лету вниз Елена чуть не навернулась на лестнице, босо наступая на полы своего карнавального одеяния, и чувствуя, что ее окончательно замаскировали под баварскую идиллию – и встречена была виновато шутившимся Бэнни – он по-дельфиньи вскрыл носом дверь из Маргиной спальни и улыбался всем телом, смущаясь, что проспал взлом дома. Вместе с этим мохерчатым кортежем сбежала в подвал и вручила Катарине в руки, поочередно, как из мнемонической картотеки: и цыплячью желтую сорочку, которую конечно же срочно хотелось отстирать от дискотечных объятий Моше; и фланелевую клетчатую лиловых тонов рубашку – на рукав которой наматывала сопли и слезы, сидя в монастырском саду с Франциской; и ностальгический прибалтийской малиновый джемпер со странными, нечитаемыми, выглядевшими как грузинские иероглифы, резиновыми буквами на пузе – в которой была на первом съезде «Мемориала», чуть больше года тому назад.

– А где же твоя остальная одежда? – взъелась на нее Катарина, явно не представляя, как можно было приехать на две недели с двумя рубашками, и одними джинсами в запасе.

Подумав, Елена совершила опять восхождение в свою спальню и нехотя притащила еще и обе схороненные на радиаторе футболки, которые кой-как выстирывала каждый день и сушила в ванной, перед тем как утром снова надеть.

– И всё? – осталась опять недовольна Катерина. Никак не веря, что это весь, существующий не только здесь, в Мюнхене, в сумке, но и дома в Москве, актуальный гардероб.

Размаяно ловя губами дым пепелеющей чайной чашки, и опираясь рукой на ненадежно вибрирующую стиралку (взбесившийся телевизор с ночной программой о мыльной пене), Елена слушала про то, как много детей Катарина родить хочет сразу же после школы – четырех, а может быть даже пять, но что Мартин, кажется, не тот парень – детей вообще не хочет, или ну ма-а-аксимум одного-двух, но он ведь хороший, и бросать его жаль, и жизнь покажет, и так далее.

И от этих разговоров подвешенные вверх тормашками ужасные штандарты – тушки доброй полсотни семейных джинсов разных пород, сушащиеся по дальнему периметру амбара – казались неприятно утрированным, кроличье размноженным количеством ее сегодняшней покупки – страшной, тошнотворной, лезущей из ушей, пародией на то, что ей ненароком купить захотелось.

На следующее утро Катарина, вся какая-то просветлевшая после их совместных лунатических прачечных вигилий, едва заслышав остервенелый крик будильной совы, постучалась и всунулась к ней в дверь: была она уже в своей песчано-замшевой приталенной, похожей на Мартинову, куртке; сияла коленками из свежих, но абсолютно идентично рваных на тех же самых местах, да еще и на ляжке, парадных джинсах и драной же, моднейше простроченной вокруг дыр беспорядочным узором желтых швов алой рубашке с высоким воротником, выпущенным на куртку; и, готовясь бежать выгуливать Бэнни, держала наперевес собачью сбрую и еще какую-то цветастую машинерию и парфюмерию.

– На! Вот я тебе кое-что принесла, для укладки! Ты сказала, у твоей подруги день рождения!

Елена слепо подобрела к ней, страшно удивившись собственному вяло тянувшемуся под головой длинному и худому остову, спеленутому в ночнушку, и получила в руки розово-перламутровый пластмассовый флакончик, приятно насквозь прозрачный, так, что было видно, как длинный пластиковый хоботок внутри черпает жидкость, чтобы ее потом выплюнуть через носик спрэя; а также старый Маргин фиолетовый фен с круглым рогаляком с дырками для горячего воздуха, на который можно было закручивать волосы.

– Это – пенка. Ее нужно на мокрые волосы! – заботливо и счастливо проинструктировала ее Катарина, многозначительно, с намеком, поддернув при этом вверх бровями, как будто за произнесенными словами и предстоящими цирюльными церемониями скрывался еще какой-то, таинственный, смысл; и попятилась задом, прикрывая за собой дверь, с уморительным выражением «Ну, не буду, не буду будить!» на лице: как будто бы открутила картинку назад, и как будто бы она только что эту дверь приоткрыла, и как будто бы с Еленой еще и не говорила, и как будто бы вновь боялась помешать ее сну.

Круто заваривая себя в бабл-гамовой пенистой ванне, как чай, Елена с холодком стыда думала о том, что не привезла сюда для Ани никакого подарка. Не потому что не помнила – а потому – что как раз наоборот – помнила, думала-думала – и так и не сочинила.

Сама Аня обладала каким-то невероятным, вызывавшим в Елене жгучую зависть, вдохновенным, и вместе с тем крайне практичным даром: каждый раз, до дня рождения Елены, Аня весь год запоминала какие-то мельчайшие проговорки подруги, наматывала их на длинный хитрый еврейский секретный китовый ус – становившийся месяц от месяца все более и более сжатой пружиной – и потом – раз! – распрямлялся – и вот на тебе – на день рождения преподносила книга или альбом по искусству, которые Елена однажды мельком с воодушевлением упоминала при Ане с полгода как минимум тому назад. Так что кончалось тем, что в каком-нибудь декабре, говоря взахлеб о своем любимом чародее Одилоне Рэдоне, Елена вдруг обрывала себя и с хохотом умоляла: «Только это не значит, Аня, что ты теперь полгода будешь искать для меня его альбом! Ты все равно в совке ничего не найдешь! Не вздумай! Иначе я вообще не смогу при тебе упоминать ничего, что мне действительно нравится!»

Высочив из пенной волны и оставив на кофейном кафельном берегу мокрые островитянские следы, она высунула мокрую башку через круглый слуховой иллюминатор и поставила волосы оранжевому фену солнца, взахлеб слушая вызванное ее появлением задумчивое «Угу? Ты что тут? Ты-ы чего? Ого!» и, пытаясь унюхать в тревожном весеннем воздухе хоть что-то, кроме забившего нос бабл-гама, она жадно взмешивала взглядом залитые солнечным сиропом кипарис, можжевельник, кривенькие яблоньки, Маргу в стеганом кипящего масла халате, дожевывающую огрызки морковки за медленными кроликами – и тут Елена с блаженным пораженчеством почувствовала, что тягаться со всем этим нечаянным, нагрянувшим вокруг подарком она даже не посмеет.

Выжав, на радостях, половину Катарининой пены для волос, и уложив локоны на фенный единорог таким крутым завитком, что даже вчерашняя хохотушка из фургона с допотопными бигудями бы позавидовала; а потом прочесав их намоченными пальцами до приятного влажноватого вида, Елена спохватилась: вся одежда-то – в подвале! Нацепила поскорей со скандалом отвоеванные ночью у Катарины, без стирки, тугие жесткие новые джинсы, обернулась в полотенце под мышками, и, готовясь к кроссу вниз, распахнула дверь в комнату – и обнаружила у кровати коротенькую праздничную стопку ее выглаженных, еще теплых от утюга, сорочек, маек и джинсов, принесенных, видимо, Маргой, тайком, под звуки родного фена. Скомандовала себе: «Але! Хоп!» – и пронырнула головой сначала в узкое горлышко футболки, а затем в горящий обруч воротника малинового джемпера, – после которых тщетно

уложенное градуированное каре моментально забыло всякую дрессировку и выглядело опять дикой львиной гривой.

Высекла на бегу из домика, по этажам, как из музыкальной шкатулки, местами знакомые мелодичные звуки – местами хриплые окрики:

– Наа-я! Оорррошэнсафт!

– Вос из?!

И, дохлебывая оранжевую бутылочку, вылетела в сад – на удивление парной, после ледяной ночи, словно как раз вчерашней ночью у природы, которую лихорадило, счастливо миновал кризис.

И на улице, пока они спринтовали с Катариной к школьному автобусу, и в автобусе, где Катарину поджидал с холодными политкорректными поцелуями человек-ящерица в одинаковой с Катариной вымороченной куртке, и потом – в школе, где в фойе перед круглой лобной сценой уже собралась любопытствующая толпа, а Аня, вусмерть смущенная тем, что из ее дня рождения устраивают эдакое кирикуку («Пусть немцы видят, как мы дружно друг друга поздравляем!» – назидательно приговаривала Анна Павловна), бросилась к Елене, в шелковой креветочной днёрождёванной кофточке с резным воротничком, в фейерверке юбки по колено, и с бордовой катастрофой на лице – везде, везде, вне зависимости от настроения и декораций, всё так же навязчиво, как и в ванне, разило бабл-гамом – пока Елена не сообразила, что Катаринино зелье для волос запашок имело ровно такой же, как и ее банная пена, только еще более концентрированный; и смешно было, что волосы пахнут чем-нибудь кроме чистых волос. И вдесятерне смешным казалось то, что вокруг нее вдруг зримо материализовался – в издевательской галантерейной насыщенности – фоновый запах туманностей ее ванн фантазий.

На сцене уже красовался Матвей Кудрявицкий: подкручивал гитару. Елена заметила, что на нем – новые джинсы и джинсовая рубашка.

– А я вчера сразу в Ка-ка-кайфхоф ввернулся! – заорал Матвей, завидев ее. – Ка-ка-ка-как только ты ммменя бббросила, сел в Эс-Баан, потом сию дддумаю: да-дайкая я ку-ку-ку-ку-плю хоть что-нить, все равно ч-ч-чего! И ве-ве-вернулся! А та-там на ра-ра-распрадаже у-у-у-урвал. П-п-п-ришлось п-п-п-ятый раз один б-б-билетик п-п-п-робивать на об-братном п-п-п-пути! – объяснил Матвей, заикавшийся, по привычке, в школе всегда на порядок длиннее и обстоятельнее.

В гимназические двери вбежала запыхавшаяся, покрашенная в хохломской гамме и с расфуфыренными кругляшками авроидной прически, Лаугард, со злополучным расписным платком на плечах – ей Анна Павловна поручила выступать вместе с Кудрявицким.

Анна Павловна уже долбила, как дятел, указательным пальцем собственные часики на серебристом металлическом браслетике:

– Скорей же! У них же уже уроки сейчас начинаются!

И Кудрявицкий, выразительно вперив в Аню со сцены актерски-влюбленный взгляд, затанул, «Гори, гори, моя звезда!». Пел он на удивление музыкально и ровно, летел словно на коне, гладко перепрыгивая через все кочки согласных (так что не понятно даже было, с какого это бодуна речь его запинаясь, когда ходила пешком). Бойкая Лаугард подхватила романс, чудовищно фальшивя и подвывая.

Аня, мучительно стесняясь – не ясно перед кем (остальным-то шло все в кайф) – за все происходящее, отводила взор куда подальше, в самую дальнюю стену – а именно – к явно давно привлекавшему ее буфету.

Чернецов, которого на сцену не пригласили, вдруг начал подыгрывать из толпы на своей гитаре, витиеватым контрапунктом импровизируя.

Анна Павловна закатывала глаза и клялась удавить этого гада собственными – вот этими вот самыми! – нежными ручками, как только вернутся в Москву.

После блиц-концерта, немцев позвали выпить за Анино здоровье – в ту же самую, светлую, классную комнату, где на прошлой неделе давали интервью: класс, казалось, все еще пах мохнатым микрофоном.

На двух сдвинутых партах расставили сиротливые белые бумажные прессованные стаканчики. Бедной Ане, по просьбе Анны Павловны, пришлось тащить с собой из Москвы пару бутылок шампанского, и вот теперь она обходила каждого и, заливаясь краской стыда, по капле разливала в бумажные мензурки гомеопатию. Дьюрька, щеголяя непонятно откуда взявшейся гусарской ловкостью, откупоривал для Ани вторую бутылку. Таша озорно охотилась на него глазами, закусив между зубами собственный согнутый указательный палец, и с силой этой наживкой дергая, как будто помогая Дьюрьке вытаскивать пробку. А как только беззвучно за клубился белый дымок над обезглавленной бутылкой, Таша салютовала Дьюрьке, растрясая руками свое ровное каре и вскинув растопыренные кисти вверх.

– Это ж надо же! А я еще этому прохвосту Чернецову в Москве хотела доверить бутылку шампанского! Думала – к нему в сумку положить, чтобы Ане помочь! – тихо гундосила себе под нос стоявшая у окна в своем обтягивающем сером свитере под горло и длинной шерстяной серой юбке Анна Павловна, раздраженно открамсывая вощеный бордюрчик стакана пальчиками, и в ритм злости лупила носком перекрещенной ноги по паркету. – Ц-ц-ц! Вот бы вляпалась!

Хэрр Кеекс, с растерянным видом, правой пятерней поскрябывая свою бороду, словно надеясь надыбать из нее первобытным методом трения какую-то недостающую информацию, торчком возвышался посреди текущей пластической композиции учеников – шампанского не пил, и вместе с Еленой праздновал Анин день рождения всухомятку: лишь инкрустированными алмазами соли зэммэлями.

На Кеекса Анна Павловна тоже все время злилась и прямо за его спиной бурчала, что он вечно всё забывает, не способен ни на чем сосредоточиться и ничего как следует организовать – «вон, в Дахау из-за него не поехали!»

На субъективный же взгляд Елены, Хэрр Кеекс был даже более чем годен к жизни: вот, например, только что принес и тихо вручил ей в громоздком белом канцелярском конверте А4 толстую подборку ксерокопий оперативно откопанных им где-то архивных газет со статьями про теракт на Олимпиаде-1972, и отксеренный откуда-то кусок про операцию возмездия; Елена была потрясена, что этот аутичный человек исхитрился не только запомнить, но и с академичной дотошностью аккуратно исполнить ее просьбу – с которой Елена мельком, и, положив руку на сердце, без малейшей надежды на успех, обратилась к нему еще после первой же обзорной экскурсии по Мюнхену. И Елена теперь сразу засунула торчком, как холодное оружие, свернутый трубой конверт в сумочку на боку и алкала поскорее дожить до ночи и почитать.

А на все Еленины изумленные слова благодарности Хэрр Кеекс с апломбом, по слогам, внятно и с расстановкой приговаривал, задумчиво скребя бороду:

– Ни за что! Ни за что! – безнадежно путая русские отрицательные частицы и имея в виду «Не за что!»

Воздвиженский, в своем мохнатом щенячьем свитере, вдруг нежно материализовался из ниоткуда, из небытия толпы, рядом с Еленой – вызвав в ней на расстоянии тактильную шерстяную волну тепла; и, смущенно бубня, предложил ей сходить завтра вместе прогуляться по Мюнхену.

– Мы с Ксавой придем вместе. Мне неудобно его оставлять. Ты не против? Давай встретимся на Мариен-платц?

– Свидание? – с наигранной иронией, заеда зэммэлем собственное смущение, громко осведомилась Елена. – Гони телефон. Я вам вечером звякну и договоримся. Я еще не знаю своих планов.

Ровно в тот же миг Дьюрька подскочил к ней и запросто с силой дернул пальцем за джинсовый карман на ее зад:

– Какое совпадение! Мы тоже вчера с моими немцами мне новые джинсы приобрели! Классные! Уже вторые! Мои немцы унюхали, что от моих самодельных варёнок страшно воняет! Вот они меня и повели в Карштадт. А вчера они увидели, что я новенькие-то джинсы аккуратненько в сумку припрятал, а старые опять надел – и повели меня опять в магазин, вторые покупать, чтобы я новые не жалел!

Взглянув на Дьюрьку, Елена с изумлением обнаружила на нем все те же, самодельные варёнки.

– Что я, дурак, что ли? Я и вторые в сумку спокойненько сложил... – без малейшего сакрального замешательства по этому поводу тут же прокомментировал Дьюрька.

Вместе с Дьюрькой обводя взглядом дотошно вылизывающую шампанское из стаканчиков русскую компанию, они обнаружили, что с противоположного конца стола стоят в одной-цовой широких банановых обновках Резакова и Гюрджян.

– Короче: джинсы распространяются как ветрянка, – захихикал Дьюрька. – Мы теперь от немцев отличаемся только тем, что у нас нет дырок на коленях.

– Как ты думаешь, Дьюрька: слово зэммэль произошло от слова зэмелах? – дурачилась Елена, выедавая зубами из булки кристаллики соли.

– А что такое зэмелах? – на серьезном глазу переспросил Дьюрька.

– Позорище ты мое! – с любовью обняла его Елена, точ в точ, как давеча на Мариен-платц, когда он искал на статуе даты жизни Богородицы.

– Что ты надо мной потешаешься?! – отпихивался и возмущался краснеющий Дьюрька. – А чем тебя немцы дома кормят, интересно? Раз ты не жрешь нифига колбасы!

– Грибами!

Прихлебывая, шурясь, пузырящееся шампанское (долитое ему, по большому благу, Аней в тройной дозе – за нее саму и за Елену), Дьюрька возмущился еще больше:

– Как, грибы?! Какая же ты вегетарианка после этого?! Ты разве не знаешь поговорку?! У нас в Рязани – грибы с глазами! Их едят – а они глядят! Нет, я положительно не вижу ни логики, ни смысла в твоём поведении! – все больше раззадоривался Дьюрька. – Как только наконец-то жратва кругом появилась – ты жрать перестала! Ты, что, на просторах голодной родины аскетизмом не могла позаниматься?!

Елена, вместо продолжения препирательств, чмокнула его в румяную щеку.

Дьюрька, краснея, и сердясь, не понятно на что, и подозрительно посматривая на Воздвиженского, откатился с радушным поздравлением к Ане:

– Ну что, старуха?!

Еще не успев отойти от шока из-за феноменальной отваги Воздвиженского – готового завтра свалить из школы, и не постеснявшегося назначать ей свидание, Елена ухитрилась тут же проделать еще более восхитительный трюк – который ни в один из предыдущих дней, несмотря на все ее старания, ей не удавался: когда все расходились после аперитива на занятия, тайком уговорила Аню сейчас же сбежать со всех уроков – в честь дня ее рождения.

– Подожди-подожди... А вдруг?... – упиралась уже у самых дверей Аня. Но Елена уже тащила ее вон из гимназии, под руку:

– Никаких разговоров! Сейчас зайдем в кафе, выпьем чаю и наконец-то отпразднуем твой день рождения по-настоящему!

У Фердинанд-штрассэ ждал, как будто как раз только их, автобус.

– А что, если нас сейчас в автобусе водитель спросит, что это мы так рано делаем на улице? В гимназии ведь еще уроки... – робко проговорила Аня, влезая в теплый пестро-бордовый плюшевый салон.

– Ты что с ума сошла?! У тебя день рождения! Забудь обо всем! Аня! Что за рабство! Видишь – кнопочка на дверях: любая остановка – по требованию пассажира! – дразнила ее Елена, придерживая указательным пальцем красную кнопку «стоп» на алюминиевой перекладине.

И тут вдруг, когда автобус пронырнул под грохочущим железнодорожным полотном, и въехал в десертную, подарочно-коробочную часть городка, Аня, наконец, оглянулась по сторонам, расслабилась и разулыбалась:

– Эх, я рада, что нас хотя бы танцевать не заставили... Вообще-то я не прочь была бы зайти в какой-нибудь спортивный магазин – купить себе ракетку для большого тенниса: мы с мамой решили, что я здесь должна ее купить.

Спортивный подвернулся прямо рядом со станцией, в самом начале центральной улицы.

– Так поедem лучше прямо сейчас в Мюнхен – и выберем там тебе хорошую ракетку! – тянула ее к электричкам Елена.

– Ну... Зачем? – мямлила Аня.

И за это ее смиренное «Ну, зачем?» – Елена уже ее чуть не убила. Потому что в интонации этого вечного Анютиного «Ну, зачем...», Елене парадоксально, но явственно слышалось эхо Ривкиного «Мне *позволили* стать учительницей» – после того, как директор парткома подселел Ривкиного отца, оклеветал его – чтобы обворовать, засунул в тюрьму по ложному обвинению, добился высылки всей семьи из Москвы и радостно вселился в их квартиру на Чистых прудах, – этот кошмарный, возмутительный, смиренный тон «Ну, зачем?» или «Мне позволили» – как залог того, что подонки вечно и безнаказанно будут управлять Аниной и Ривкиной жизнью, а Аня и Ривка – прекрасные, добрые, тонкие, умные, человечные, достойные царств, Аня и Ривка, которых весь мир не стоит, вечно будут приниженно благодарить правящих паскуд за то, что их *хотя бы* не сгноили в лагерях и «позволили» жить.

– Что за гнусная приниженность?! Аня?! Вот из-за этой твоей приниженности в стране сволочи и сидят у власти и унижают всех остальных! – орала на нее Елена – и тут же расхохоталась – сообразив, как абсурдно звучит мелкий, в сущности неважный (подумаешь – ракетка!) повод для продолжения вечного их с Аней спора, – и добавила: – Да наплевать на ракетку, наплевать на всё материальное вообще! Я же о внутренних вещах говорю! Ракетка – просто как наглядный символ! Я же о принципе главного выбора в жизни говорю!

– Уверяю тебя: в этом магазине – точно такой же выбор. Зачем ехать в Мюнхен? – злобилась и упрячилась Аня. – А если ты не прекратишь безобразничать и скандалить, то я вообще немедленно развернусь и уеду обратно в школу.

– Ага, ты еще в Москву прямо сейчас от меня уезжай! Нет, меня просто возмущает твой принцип! Что значит «скандалить?» Аня? Скандалить – это у тебя значит пользоваться чем-то, чем ты пользоваться вправе! Почему даже сейчас! Даже в таких мелочах! Даже когда ты в другой, свободной стране! Даже сейчас, когда у тебя есть возможность выбора – почему не сесть и не доехать до центра Мюнхена?! Почему не зайти в магазин с максимальным выбором – а осесть где ни попадя? Что за злонамеренная провинциальная убогость! Это же твоя жизнь! С какой же стати профукивать жизнь на первое, что попадется у обочины?!

Ругаясь, дергая друг друга за руки, они чуть не выбили – вовремя перед ними разъехавшиеся – автоматические стеклянные двери – принявшие их безо всяких разговоров в нарядный мир с оркестровыми рядами музыкально настроенных ракетных струн и колониальными плантациями цитрусовых теннисных мячиков.

– Grüß Gott! – зазвенели колокольцами продавщицы. И Елена разом забыла про все свои нотации.

В течение великолепного получаса, Аня послушно, как ее просил инструктор – молодой импозантный брюнет, старомодно подстриженный под Кэри Гранта, – расставляла ладонь, клала на нее упругую пружинистую струнную щеку ракетки и, не меняя угла, вела рукой

дальше по рукоятке, пристраивая ракетку так, чтобы она вросла в руку и чувствовалась как продолжение тела, и потом перехватывала, взвешивала, замахивалась, примеривалась, – и в результате, то ли устыдясь выговоров Елены, то ли просто зачарованная воплощением собственной мечты, выбрала и купила самую дорогую из имевшихся, и подходившую ей как влиятая, модель.

А еще через несколько минут Аня с Еленой сидели в залитой солнцем чайной напротив, уже напрочь забыв о ссоре: Аня любовно поглаживала свой теннисный алт в темно-ртутном чехле на молнии, приставленный между ними на почетное место на диванчике; и обе, вдыхая умопомрачительные ароматы из тут же жарко зевающей каменной булочной печи, затаив дыхание, следили, как коротенькая сдобная тетушка с выпирающим красным подбородком (как будто ее за него держали пальцами, пока лепили остальное лицо) из-за прилавка музыкально напевала новому посетителю: «Мармеладэ?» – как до этого, только что, пропела Ане – а увидев мечтательно-утвердительное потепление ее глаз, извлекла из-под прилавка уже знакомый Елене габаритами и акварельной пестротой сундук с джемом, и Аня робко мигнула наугад в приглянувшийся ей глазок; и теперь перед ними истекали – приторной краской начиненные до отвала – избранные горячие булки – и дымился чай.

Пока они уминали свежий хлеб с джемом, в гости к сдобной булочнице, заперев собственную лавку напротив с соблазнительной вывеской «Мясо. Колбасы. Сосиски. Мясники в пятом поколении», появился небритый мясник в желчного цвета спортивной куртке и землистом бейсболке; сидел долго, ничего не заказывая; елозил на высоком скрипящем под его грузным гузном четырехногом темно-коричневом стуле с короткой спинкой и многочисленными перекладинами для ног, куда он беспрестанно напрасно пытался угнездить пятками свои дутые бахилы; и, улучив момент, когда булочница была свободна, облокотился на прилавок колбасами локтей и принялся хмуро хвалиться ей, сколько денег он сделал на прошлой неделе; она же в это время кокетливо затяжным движением развязывала крошечными пальчиками и снимала с себя чуть испачканный джемом фартук, обнажая одновременно и черную блузу с треугольным вырезом, и, в сдержанной улыбке, верхние зубы, которые не влезали у нее под верхнюю губу, и она аккуратно ставила их на нижнюю. И вдруг – после мясниковского мечтательного: «Ну вот...» (с вопросительной паузой), – булочница резко дернула губу, и ушла в подсобку, по дороге развязывая сзади длинную бордовую льняную форменную юбку, с нахлестом запахивавшуюся вдвое. И тут же выслала вместо себя к прилавку подмену – молоденькую симпатичную практикантку с толстыми лодыжками – корректно спросившую у мясника, что же он желает заказать. Бочоночно-лодыжечной молодухой мясник, по загадочной причине, категорически не интересовался. А сама его убежавшая старая зазноба вдруг так громко хохотнула из подсобки с какой-то невидимой товаркой, что мясник с досадой вздохнул, сполз с кренящегося наседа, и нехотя косолапо поплелся к двери; обиженно звякнул на прощанье входными колокольчиками стеклянной двери; перешел в два размашистых шага переулок; и возвратился к труду праведному, отпирая кровавую лавку.

Булочница же через минуту выскочила из подсобки уже в черном фасонном макинтоше с широкими взбитыми ремешками на плечиках, и с болтавшейся на золоченой цепочке по диагонали кокетливой миниатюрной красной сумочкой – в форме то ли чересчур упитанного сердца, то ли...

– Замолчи сейчас же! Ну не порть аппетит, подруга! Вечно ты со своими неуместными ассоциациями! – зашикала на Елену Аня со страшными глазами и с отваливающейся, переполненной джемом и не дожеванным хлебом, челюстью.

– Не волнуйся, она же все равно по-русски ни слова не понимает! – оправдывалась Елена.

Ничего по-русски не понимавшая малорослая пожилая мясницкая пассия выскочила за дверь и убежала в неизвестном направлении, рассекая по-утреннему влажную панель на плоских черных лодочках, взбивая на ходу микроскопически короткими сдобными пальчиками с

яркими каплями джема на ногтях мелированные перья налаченной причёски, и даже ни разу не оглянувшись на плотоядно пожиравшую ее глазами застекленную мясную лавку напротив.

Зигзагами бороздя центральную улицу (черенки подростков-клёнов на которой выглядели в солнечной подливке гораздо храбрее, чем вчерашней ледяной ночью), Аня и Елена забивались в каждую со звоном и старомодным приветствием отверзающуюся у них на пути стеклянную лузу лавочек.

Признавшись Анюте, что во время похода с Маргой в супермаркет, из-за некоего эсхатологического ужаса перед фабричными просторами этого ангара для жратвы, позорно оттуда сбежала, – Елена предложила ей сейчас же вместе произвести рискованный аттракцион: зайти в небольшой, вмещающих, человеческих размеров, продуктовый.

– Ну... давай... попробуем... – с опаской согласилась Аня.

Пристроились за танковой дивизией благонадежной престарелой дамы в светло-бежевом плаще и смешных по-стариковски наглаженных, со стрелкой впереди, джинсах, при ходьбе топорщащихся и подпрыгивавших как на манекене, таранившей перед собой огромную металлическую телегу. Мимо проходил лукаво улыбающийся им луковый хлеб, и уже откровенно хохочущие над гастрономическими невеждами длинные гиппопотамы вайцэнмишброта, и фолькорнброта, и крустэнброта, и заатэнброта, и кюрбискернброта, и саркастический меэркорнброт.

Читали названия и с трудом пытались подобрать неведомый в физической жизни русский эквивалент.

Тормозили и робко трогали и нюхали более-менее переводимые хлеба в суперобложках и целые неперевоенные новеллы на бесконечных нечитанных стеллажах сказочных безымянных яств.

И вместе заново искали и прилаживали слова к давно не существовавшим в Москве предметам. Или – наоборот – с радостью ученого архивиста опознавали предметы, от которых в России оставались только имена – корешочки, бирочки – в кладовых картотеках старых дореволюционных и эмигрантских романов.

А уж когда дошли до тактильного и обонятельного чтения главы сыров, Аня не выдержала и рассентиментальничалась:

– Я себя чувствую прям как в чуде уцелевшей при пожаре Александрийской библиотеке еды! – съязвила она со сладким вздохом. – Какой роскошный выбор сыров! А вот этот, этот – ты понюхай только... – наклонялась Аня над открытой витриной – прицелившись к самому зеленому и вонючему.

– Анечка, можно я тебе куплю вот этого сыра – и это будет мой тебе подарок на день рождения?! – в восторге переспросила Елена.

– Ну, зачем... Я ведь уже позавтракала... – с категоричной физиономией проронила Аня – и от приглянувшегося сыра моментально отвернулась.

В очередном приступе ругани выкатились на улицу и свернули в узенький, размером с ручей, проулок – с раскрашенными – как будто мелками – домиками по обе стороны – причем на каждую семью мел явно раздавали разного цвета.

Через дорогу продавались крашенные лакированные самодельные скворечники – с аккуратной надписью «Bed & Breakfast» над кругленьким влётным окошком.

Умиляла немыслимая для России недоросль заборчиков – все без исключения изгороди в городке не уродились выше, чем по колено, через них не то что перепрыгнуть, а перешагнуть-то ничего не стоило.

Выгуляли неожиданно к городскому кладбищу. Крайне компактному – размером не больше супермаркета. Кладбищенская ограда оказалась хотя и чуть повыше, чем заборчики коттеджей, но надгробных плит и крестов не скрывала.

На центральных воротах красовался огромный знак: «Въезд на велосипедах запрещен».

А чуть пониже была прибита на колышке табличка расписания работы кладбища, с наисложнейшими арифметическими ухищрениями: по четным будним дням с октября по апрель кладбище работает – с 9.15 до 15.00, по нечетным будним дням с апреля по сентябрь – с 8.15 до 16.30; с выходным в каждое первое и третье воскресенье месяца; и даже с перерывом на обед – который, судя по Анютиным часам, как раз сейчас на кладбище начался.

– Иными словами, шансов попасть на Ольхингское кладбище у нормального человека, слава Богу, практически нет, – мрачно прокомментировала Аня.

Обошли кладбище. По всему периметру их в припрыжку провожали любопытные зеваки-скворцы. И, только было загуляли по уже откровенно дачной разнеженной улице из желтых домиков, исповедующих позднего Ван Гога – с блаженно напряженными ветвями груш и магнолий, тянущими к солнцу, как к зажигалке, свечки почек, вырывающимися далеко за условно отгороженные границы сада – как тут же угодили в объятия гранитной мастерской, все пространство вокруг которой было заставлено черновиками могильных памятников. На этих могильных анонимных болванках, заготовках впрок, мастер по граниту беззастенчиво то и дело повторял один и тот же излюбленный графический оборот: крест, обведенный ступающими к центру концентрическими кругами, и похожий в результате из-за этого скорее на огромный оптический прицел. А на нескольких, видимо сердечно полюбившихся лично самому художнику, особо эффектных модернистски перекособоченных плитах, он даже заранее, чтоб два раза с дивана не вставать, уже выгравировал бессовестно приглашающую дату смерти: 199. – оставив окончательную единицу на усмотрение владельца.

– Слушай, что-то мне уже поднадоела эта тематика! – надув щеки, пошутила Аня, – пора делать ноги отсюда! Давай опять на главную улицу выберемся!

Зацепившись взглядом, как за стрелку компаса, за шпиль ольхингской церкви, быстро выбрались на центральную площадь.

У светофора, на абсолютно необитаемой узкой яркой улице, явно был просто нервный тик: мигал в полную пустоту.

Но Аня потребовала, чтобы они нажали на огромную, как для дебилов (чтоб невозможно было не попасть кулаком) охряную клавишу, размером со слиток золота – с примитивистски нарисованным двуногим – и мариновались еще минут пять. Ожидая от нервного дальтоника-светофора весны.

– Не смей переходить на красный, подруга! – хватко придерживала ее на переходе, оттягивая за джемпер сзади, Аня – и опять уже заранее делая свою фирменную свирепую физиономию. – У немцев так принято. Жди.

Пока не убедилась, что светофор просто вышел из строя – и заикнулся на краснухе и желтухе.

– Давай зайдем? А? Пожалуйста! – тянула уже Елена Аню, едва перебежали, за рукав, внутрь розово-желтой неоготической кирпичной кирхи: уже, впрочем, предчувствуя, что сейчас опять разразится скандал – если она услышит очередное: «Ну, зачем...»

Но Аня по-простому сказала:

– Ты иди, а я тебя здесь снаружи подожду. Мне неловко как-то внутрь церкви заходить. Я же в Бога не верую. Когда с экскурсией, со всеми – это нормально. А так...

Внутри, у двери, через которую вошла Елена, распятие показывало крестные муки с такой невыносимой правдоподобностью, что все входящие горожане здесь же падали на колени. Еще мучительней, еще чудовищнее, еще в сто крат более физически ощутимо – еще реальнее, чем даже в мюнхенской Фрауэнкирхе – видны были по всему телу увечия от римских хлыстов флагрумов со свинцовыми наконечниками. И с убивающей буквальностью сразу в твоём же, живом, теле чувствовались и разрывающиеся альвеолы легких, и удушье, и вздутые вздыбленные ребра, и необходимость каждый раз ценой нечеловеческой боли подтягиваться, чтобы сделать вдох, и вот-вот готовое разорваться не выдерживающее сердце.

Елена встала у песчаного стола с горящими свечами, которые боялась потушить брызнувшими из глаз слезами, и, раз увидев распятие от входа, больше не смела даже поднять на него глаза.

Простые парафиновые свечи зарывались пятками в песок. Который напоминал сверху то ли кофейную гущу, то ли лунный пейзаж с кратерами и выгоревшими дотла жерлами вулканов, с загадочными, рукотворными, начертанными на песке чьим-то молящимся перстом, знаками – о происхождении которых ученые-астрономы долго потом будут спорить, разглядев в свой телескоп: какие приливы и какие ветра их запечатлели.

Глаза долу, так и дошла в гораздо более жизнеутверждающий алтарь.

Нарядная кафедра под деревянным палантинном. Деревянный потолок, как тетрадь в клеточку, расчерченная деревянными балками. Медузообразное солнышко на кобальте деревянного неба. И крошечная трещина над алтарем прямо по центру, через которую с чердака – уместный луч.

И веселые яркие псевдороманские комиксы, в таитянской гогеновской цветовой гамме, с новаторской флорой и фауной, бредущей вразброд, покачиваясь, по барханам: пальмы с пропеллерами; вол, который, похоже, не знал, что делать с наличием у него и копыт, и крыл, и поэтому предпочел за лучшее почтительно лежать у престола с письменами в зубах, и поддерживать собой золотую мандорлу; орел, размером с болотную цаплю, сидящий на летящем папиресе, как на ветке дерева; и Ангел с телетайпной лентой, принимающий телеграмму настолько длинную, что он и сам в ней слегка запутался левой стопой. Лев же, страшно похожий на немецкого медведя, просто листал в руках лубок и улыбался. Пара Архангелов с экспрессивной пластикой и оливковыми тромбонами дежурили по углам. На ближайшем к апсиде арочном перекрытии то ли пастухи, то ли рыбаки, то ли мужи без определенной профессии, танцевали хаву-нагилу и откровенно указывали руками на Виновника своего торжества в алтаре. А по краям, спеленутая в саваны и накрепко повязанная, молодо выглядящая братва уже с задором выбиралась из гробов и высвобождалась из пут.

Каждые полминуты, как по солнечным часам, сзади звякала монетка – прихожанин, забежавший на пути, преклонял колени, зажигал свечку на песке, молился – и выбегал дальше по своим делам, насквозь, через дверь противоположную.

С завидной регулярностью позади раздавалась и тоненькая мелодия, как из музыкальной шкатулки. И Елена все никак не могла понять, откуда это. Отсчитав обратно полсотню длинных мореного дуба скамей с прагматичными медными вешалками для сумок, подставкой для колен, обитой вишневым клеенкой, и коротко стриженным ковриком на сидениях – и увидев, наконец, источник музыки, Елена в секунду вынеслась за Аней.

Та, усадив на скамейку вместо себя свою теннисную ракетку и удобно облокотив ее на спинку, уже преспокойненько болтала у обочины с немецкой семьей (жена, муж и сын лет пяти, с широкими, славно раскатанными скалкой во все стороны лицами, запыхавшиеся, все в одинаковых, серых с розовым, облегающих спортивных костюмах с желтыми лампасами по бокам, спешившиеся с велосипедов); Аня, со знанием дела, с удивительной наглостью и уверенной жестиком обьясняла местным немцам, как куда-то проехать.

– Аня! Побежали скорее! Там потрясающая игрушка! – Елена безапелляционно подхватила ее под руки и, как всегда побеждая упрямство подруги исключительно внезапно, как какую-то упирающуюся недвижимость насильно вдвинула, наконец, ее в церковь.

В левом, дальнем от алтаря углу была и впрямь потрясающая музыкальная игрушка.

Для того чтобы увидеть действие, нужно было встать на колени на специальную деревянную подставку и заглянуть во вращенный в стену ящик за стеклом.

Приготовились. Опустили монетку – и вдруг вспыхнул свет внутри ящичка: на игрушечной маленькой колокольне и в крошечной храмовой хижинке. Заиграла плинки-планк музыка. Распахнулась деревянная дверь – и из хижины выехал Спаситель с крестом на знамени, прямо

как на картинах Уголино. Простолюдин у дверей почтительно снимал шляпу. Удобно сидящая на коленях крестьянка поднимала для благословения младенца. И Спаситель в развевающемся на ветру алом деревянном плаще благословлял всех (включая вынужденно коленопреклоненных, из визуального удобства, внешних зрителей), осеняя Своей алой раненой ладонью.

– Как красиво! – шепнула Аня.

Они обе стояли перед игрушкой на коленях – и не глядя спускали из карманов всю имеющуюся мелочь – лишь бы мелодия не прекратилась.

– А ты заметила под колокольной звонящего Ангела? – в запале спрашивала Аня, не отводя глаз от темнеющего ящичка. – Он за веревочку дергает!

– Нет!

– Тогда давай еще раз!

И за любую, уже бессчетную монетку, волшебный ящик повторял всю мистерию еще и еще раз.

– А ты заметила мох, настоящий, на переднем плане?!

– А ты заметила, что когда Он выходит, – там, в хижине, видны две керамические лампы и лилии в горшочках!

– Да! И фотография Его мамы на камине!

И Аня снова была такой, какой Елена ее ужасно любила. Такой, какой она, в детском каком-то еще классе, подсмотрела ее в Новом Иерусалиме – вырисовывающей иконным пальчиком воображаемые картины на полотне грязно маслом крашенной пупырчатой варварской стены.

– Послушай, подруга! Ты знаешь, я никогда не лезу в твои дела, уважаю твой выбор и так далее... – заговорила Аня, как только они с ней вышли из церкви на солнцепек – таким елевым голосом, что было ясно: дальше собирается сказать гадость. – Но объясни мне, идиотке... – продолжала Аня, решительно вешая ракетку в чехле, подтянув за лямку, как ружье, на правое плечо. – Ну что ты в нем нашла?!

Елена изумленно вылупилась на нее.

– Да нет! Не в Нем! – смеясь, сконфуженно качнула Аня головой в сторону церкви. – А в Воздвиженском! Ну ведь жлоб жлобом! И зануда к тому же.

– Посмотрим, – с вызовом ответила Елена.

XII

Little 16-teen. В чужом кукольном кресле.

Я травлю себя вами.

Now. Und gerade hier. В южном монашеском городе. Пунцовом плюшевом кресле. Земле теплого воска. Фруктово-шоколадного фондю. Пчелиного пунша, на взлёте. И вертолета-фламбэ, уже в небе.

Я грузу вас через уши. Загрузочный диск – Music for the Masses. Дешевый депешовый каламбурчик. Разумеется, аккуратно для них.

Чудовищное игровое поле – атлас автомобильных дорог, выпрошенный у Марги из машины, пропахший бензином, и разворошенный сейчас на коленях: Мюнхен и окрестности – и дотронуться нефиг делать сразу и до олимпийских наростов, прищупив их большим пальцем – и, строго по конвенционному времени – резкий гусеничный шаг пиком среднего пальца – до военного аэропорта вот здесь вот, под боком, в минутах езды от супермаркета на Маргиной машине – в Фюрстенфельдбруке – с вертолетом фламбэ на взлёте – нет, взлететь не успели – расстреляли и запалили заложников в вертолете прямо на взлетной полосе. Город еще не застывшего воска.

Я ввожу вас себе под кожу. Как вирус. Как CD в мерцающий посреди темной спальни межгалактический спейс-шаттл Катаринино музыкального центра – в летучую плавно вдвигаемую и выдвигаемую в невесомость лазерную подставку для чая – с которой так смешно играть светящимся ргутным пультом.

Катарина, изумившись наивной просьбе, аж взвизгнула от радости: «Ну конечно же у меня есть «Депеш»! Это же моя самая любимая группа!»

Непонятно почему вдруг, поднявшись к себе в спальню вечером, перед тем как крутануть выключатель и высечь свет, Елена вспомнила липкий шепот Моше в дискотечных потьмах – и, в приступе неясно откуда нахлынувшего самоубийственного мужества, тут же спустилась вниз, к Катарине, затребовала диск; и отправилась к себе наверх, с мрачной решимостью говоря себе: «Чтобы бороться с врагом, надо его знать».

Я грузу вас через уши. В гигантских наушниках, как тугой черный кожаный поцелуй коровы. В чужом пунцовом плюшевом кресле на роликах, куда ухнулась с разбегу с ногами и с головой. В южном монашеском городе, пахнущем бабл-гамом.

Здесь и сейчас.

Оррррошэн. Безусловно – звук резко меняет их вкус.

Зафт. С оттяжкой подъезжаю пастись к тумбочке, подтягиваясь к ее остоу рукой, верхом на никем не убитой пунцовой корове с роликовыми копытцами, целующей меня в каждое ухо с гулким живым засосом «Ö». Закатывающим консервы.

Klickt beim ersten Öffnen. О, да. Проверено неоднократно.

– Сколько же ты можешь выпить этого литров? В день?

– В час!

Ледяная оранжевая лава – и горнило и дышло кожаных губ наушников – отливают ненужную, лишнюю, фальшивую золотую монету, где «DM» – заодно и марка, и депеш. Уходящая натура с умирающей. Кесарево с обеих сторон.

И – нет, моя апельсиновая дойная буренка – даже не дальняя родственница, и уж тем более не любовница самозванцу-быку, чья малярийная урина продается в советском гастрономе на Соколе с посмертной биркой «мандариновый сок» на ноге.

И из убитой плоти – одни белые грибы. С глазами. На них охотится теперь Марга по всем окрестным супермаркетам. Невозможно убить то, чему есть чем тебя видеть. Но ведь слепца тоже убить невозможно.

Я грузу себя вами.

Звуком.

Как, пожалуйста?

Я добываю себе антивирус. Я высекаю его лазером из мира, как из си-ди.

Загрузочный диск – Music for the Masses. Разумеется, для кого же еще?

Еще децл цикуты —

и прощай, Эльсинор.

Спеть тебе песнь, мой сладкогласый гусельщик-псалмопевец Давид, о погибших еврейских нейтрино, неуловимых мстителях?

I never tried to hide them!

Еще бы!

Еще.

Now.

Стыковка с тумбочкой.

И ксерокопии Кеекса уже залиты апельсиновым соком.

Now.

И русская закадровая речь, в проигрыше депеш мод, звучит издевательской подсказкой:

«В докладах рассматривается... В докладах рассматриваются... эволюция ядерных арсеналов...» – под гнилой вой миксолидийских сирен – не может быть, чтобы это они все все-ррез?! Как можно любить вирус? Ведь не может быть, чтобы этот музыкальный запах гнильцы, этот звук разложения, этот намеренный надлом гармонии, с ублюдочной похотливо-ритмичной бессмысленностью – нет, они, должно быть, шутят – невозможно поверить, чтобы они это любили? И гóлоса чужого... – слушают, о, еще как слушают! Как, на каком языке им успеть ответить – с такой скоростью и внезапностью, чтобы они не успели заметить, что моего языка не знают, и чтобы поняли: их смысл, а не язык, невозможен – потому что не существует? Как, прикусив им, в отместку, мочку уха, вбрызнуть антивирус в их глухие сусанинские ушные лабиринты настолько быстро, чтобы они не успели выработать противоядия к противоядию?

Я закапываю вас себе в глаза из Кеексовых террористических пипеток.

И мелькают – ансамблем «Березка» – внятные знаки, которые террористам, в Олюмпиа-Центруме, после захвата израильских спортсменов, отмахивают из противоположных окон делегации ГДР.

«Атаковать их можем только мы. А вы можете об этом только мечтать», – и речь агентов Штази, в перехватах мюнхенской полиции сразу после начала теракта, уже звучит в ушах явственнее, чем гундосые голоса депешей и гнилые шумы, и записывается лазером на те же звуковые дорожки:

Атаковать их можете только вы... – и советская спортивная делегация по приказу из Москвы отказывается даже спустить флаг в знак траура по свежееубитым израильтянам... – В докладах рассматриваются эволюция ядерных арсеналов и социально-психологические аспекты гонки вооружений... А мы можем об этом только мечтать. В ддокладах рассматриваются... в доокладах рассматриваются...

Я травлю себя вами. Я впускаю вас себе под кожу как яд. Сидя в кресле. И поставив си-ди на Repeat. И запиваю запредельно крепкой заваркой чая. Чтоб не заснуть, пока не найдены будут все конечные ответы. Или вернее, чтобы не разбудить себя ненароком. Потому что, кажется, опять забыла закрыть окно – а если проснусь, то точно околею от холода. Так что лучше уж – так, на автопилоте. Но надо бы встать и задернуть гардины – чтоб не напустить в комнату темноты. Хотя я и не помню, включила ли вообще свет в комнате. А проверить это сейчас крайне затруднительно – потому что для этого надо как минимум открыть глаза.

И заодно срочно понять, как успеть загрузить в себя яд и выработать антитела быстрее, чем вирус меня убьет – и впрыснуть антивирус обратно в мир – но так, чтобы подошли лишь крысы? Как убить вирус – но не убить их самих? Как, в гневе, не сжечь ненароком напалмом шарик – потому что уж нет больше никаких сил видеть и слышать их мерзопакостную мерзость и блевотнейшую блевоту? Как удержаться и не взорвать их всех с доставкой на дом – у их же домашних телефонов? Чтобы их ответ «да» на вопросительно произнесенную незнакомым голосом на другом конце телефона фамилию, стал их последним утвердительным ответом миру. Как не испепелить их в их лимузинах вместе с их бесчисленной охраной? Как не поднять на воздух их любимые отели и виллы с начинкой из них? И как потом объясняться с убитыми ненароком соседями: «Простите, выводили бомбами крыс»? Как не пристрелить официанта – не за то, что не принес свежесжатого апельсинового сока – а за то, что напомнил с лица убийцу? Как убить вирус – но не убить их самих?

Я грузу вас через глаза и уши.

Кресло.

Инъекция букв под кожу. Я загружаю себя в вас.

И – привет, Эльсинор.

Недопитые излишки золотого яда брызжут с тумбочки из бутылки на упавшие веером на пол Кеексовы промокашки.

Нападающий, 51-й (50-й)! Опять сбилась со счета! Сыграй мне, сладкогласый мальчишка из Вифлеема. Спой мне, Царь Давид, Отец Антитеррора. Спой мне, Отец Антивируса! Спой, первый, после Декалога, автор сотни бескровных словесных Антивирусных Вакцин, действенных до сих пор! Слабай мне колыбельную на ночь – или, вернее, уже под самое утро! Сыграй – уж не знаю какой там саундтрек – 59-й (58-й)? Или 11-й (10-й)? Или, уж по-простому, без всяких уже разночтений – 2-й? Грустно мне, полузащитник мой. Спой мне, сопливый ханырик с рогаткой, заряженной булыганом, вовремя предавшийся синергии – чтоб хоть кто-нибудь дожил до утра. Спой, медь, звенящая в кредит, ценой, которую не ты заплатил. Спой, на чужие ноты. Спой, кровавый убийца Давид, оставляющий за собой выжженную тоску, спой, истребляющий сугубо – чтоб не мстили – даже малых детей и жен. Утешь меня, убаюкай меня провидческим твоим лалабаем. Завещай Сыну своему – Прапрапраправнуку своему – Господу своему – и мне заодно, не по крови, а по прямому пневмо-наследству: оставить месть небу. Спой, Ду́ди, – когда-нибудь я пойму.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.